



Игорь Ефимов

Неверная

Ефимов И. М.

Неверная / И. М. Ефимов —

Умение Игоря Ефимова сплести лиризм и философичность повествования с напряженным сюжетом (читатели помнят такие его книги, как «Седьмая жена», «Суд да дело», «Новгородский толмач», «Пелагий Британец», «Архивы Страшного суда») проявилось в романе «Неверная» с новой силой. Героиня этого романа с юных лет не способна сохранять верность в любви. Когда очередная влюбленность втягивает ее в неразрешимую драму, только преданно любящий друг находит способ спасти героиню от смертельной опасности.

Содержание

1. ПРИЗНАНИЕ	6
ПИШУ ПАНАЕВОЙ-НЕКРАСОВОЙ	11
2. ПАВЕЛ ПАХОМОВИЧ	20
3. РОДИТЕЛИ	24
ПИШУ ГЕРЦЕНУ	28
4. ДОДИК	38
5. СЫН	42
ПИШУ ТЮТЧЕВОЙ-ДЕНИСЬЕВОЙ	47
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Игорь Ефимов

Неверная

Автор заверяет читателя, что все персонажи этого романа вымышлены, все совпадения сюжетных и жизненных ситуаций – случайны, всякое сходство характеров – непреднамеренно.

Он также считает своим долгом предупредить, что в тексте будут встречаться цитаты или заимствования из произведений других авторов, не выходящие – как он надеется – за рамки принятых в литературе правил и приличий.

В скрытом и явном виде цитируются:

Аркадий Ваксберг. «Лиля Брик. Жизнь и судьба» (М.: Олимп, 1998).

Стихи Яны Джин из сборников «Неизбежное» и «Неприкаянность» в переводах Нодара Джина (Yana Djin. *Inevitable*. Moscow: Podkova, 2000; *Realm of Doubts*. Moscow: OGI, 2002).

Елена Игнатова. «Записки о Петербурге» (СПб.: Амфора, 2003).

Соломон Иоффе. «Тайнопись Булгакова» (рукопись).

Стихи Десанки Максимович из сборника «Запах земли» (М.: Худлит, 1960).

Поль Моран. «Я жгу Москву» (в переводе Владимира Марамзина, рукопись).

Документальный фильм Петра Мостового «Взгляните на лицо» (1966).

Анатолий Найман. «О поэзии трубадуров». Предисловие к книге «Песни трубадуров» (М.: Наука, 1979, перевод А. Г. Наймана).

Бенгт Янгфельд. «Любовь – это сердце всего. Переписка В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик. 1915—1930» (М.: Книга, 1991).

David P. Barash, Judith Eve Lipton. *The Myth of Monogamy. Fidelity and Infidelity in Animals and People* (New York: W. H. Freeman and C°, 2001).

Warren Faidley. *Storm Chaser* (Atlanta, GA: The Weather Channel, 1996).

Linden Gross. *Surviving a Stalker* (New York: Marlowe & C°, 2000).

Ronald Markman, Ron LaBrecque. *Obsessed. The Stalking of Theresa Saldana* (New York: William Morrow and C°, 1994).

Thomas Gaiton Marullo. *Ivan Bunin. From the other shore, 1920-1933* (Chicago: Ivan R. Dee, 1993).

Mike Proctor. *How to Stop a Stalker* (Amherst, NY: Prometheus Books, 2003).

Film *Shoot the Moon* by Alan Parker (1982).

А также десятки книг и статей о Блоке, Бунине, Герцене, Маяковском, Некрасове, Панамовой, Тургеневе, Тютчеве.

1. ПРИЗНАНИЕ

Я прожила свою жизнь в страхе.

Нет, неправда.

Я прожила счастливую жизнь.

Но я прожила ее – затаясь.

Вечный беглец, вечно под маской, быстрая смена ролей и обличий, вечное притворство.

Я сжилась с ним.

Не помню, когда я впервые осознала свой недуг, свой позор, свое уродство. А осознав, стала молчаливой, загадочно печальной, уклончивой, вечно убегала куда-то, заныривала. Да, срочно вызвали к заболевшей тетушке, да, я обещала вернуться домой к семи, а сейчас уже начало восьмого, постараюсь завтра, но точно обещать не могу, так много всяких хлопот, а тут еще экзамены, занятия, курсовая... Порой уставала, порой готова была махнуть рукой, выбросить белый флаг, сдаться, сознаться. Но в другие минуты вдруг накатывало радостное осознание своей личности, непохожести на других, чуть ли не избранничества. И в такие минуты я ощущала себя счастливой.

Впрочем, откуда мне знать? Может быть, нормальные люди счастливее меня в десять раз. Сравнивать-то мне не с чем.

Когда приоткрылось? Думаю, в девятом классе, на новогоднем вечере. Музыка, прожектора, танцы, вспотевшие ладони. И Боря Некипелов – о Боря! о мечта всего девятого «Б»! – третий раз приглашает не меня, а эту противную Римму К. И подруга Валя шепчет мне:

– Как ты терпишь?!

– А что я могу сделать?

– О, я бы! Я бы!..

– Выцарапала глаза? Плеснула серной кислотой?

– Не кислотой, но хотя бы томатным соком на блузку. Хочешь, вот сейчас – пройду мимо, задену будто случайно, буду дико извиняться, вытирать пятна...

– Зачем? Что это изменит? Он все равно остался, остается, останется таким же прекрасным.

– Но уже не твоим!

– Какая разница? – неосторожно говорю я.

И подруга Валя подносит к голове пистолет из двух пальцев и начинает ввинчивать его в висок, словно штопор.

А потом был институт. И начались настоящие романы. С поцелуями в темном промерзшем парадном. С его горячими пальцами, рвущимися в твоих лямках и бретельках, как рыбы в сетях. С паровозным стуком в груди, с кружением колес в голове, пар изо рта – это точно, и кажется, что и глаза должны загораться в темноте, как фары, для полноты картины. И иногда, если повезет, если мать работает в вечернюю смену или подруга уехала в дом отдыха и оставила ключ – о, тогда пропадай все на свете! Тогда летит и кружится перед глазами темный небосвод комнаты, мелькают фонари за окном, разлетаются в стороны рубашки и простыни, постукивают пружины матраса. Да, милый, да, уже близко! И вот – наконец – поезд врывается на станцию назначения и испускает торжествующий вопль-гудок.

Но потом начинается трудное. Начинаются разговоры о любви. О верности. «Да, да, конечно, – бормочу я. – И я, и я тоже... Завтра?.. Нет, завтра никак не могу... У нас вечером семинар по Державину, невозможно пропустить. Я позвоню тебе в воскресенье, хорошо?.. Или в понедельник... И мы поедем кататься на коньках, на лыжах, на санках, на качелях... Так будет славно!»

Увернуться, ускользнуть. Вырваться из словесной паутины обещаний, оставить лазейку, недоговоренность. Удрать с бала, пока часы не пробили заветную полночь и карета не превратилась обратно в тыкву. «Ты все перепутал! Я говорила в восемь вечера в среду, а не в четверг. Прождала тебя на морозе!..» О, это была целая наука, богатейший набор приемов. Невидимое – всегда наготове – женское недомогание. Мать послала за лекарством на другой конец города. Внезапно приехал дядя Миша («Ну, ты помнишь, я тебе рассказывала о нем, капитан дальнего плавания, я не могла с ним не повидаться, ему сегодня опять в плавание, опять не видеться полгода!»).

Верность. Все книги, все песни, все фильмы прославляли ее, возводили на пьедестал, требовали, грозили позором за нарушение. Как я могла сознаться, что не способна на нее? Что неделю назад я делала это с аспирантом-лингвистом, а завтра у меня не семинар по Державину, а свидание с курсантом-артиллеристом? Что на предстоящем дне рождения лучшей подруги ее муж опять будет гладить мне колени под скатертью и я не смогу – не захочу – оттолкнуть его руку?

Да, я уже знала все клеймящие, раскаленные слова, которые поджидали меня, если откроется. «Шлюха», «подстилка», «слаба на передок», «поблядушка», «давалка», «потаскуха»... Я боялась момента разоблачения, пряталась за ненужными мне очками, за немодной стрижкой, за темными жакетами. Но стыдилась ли в душе своей одержимости, пыталась ли одолеть? Если и пыталась, то как-то вяло, неискренне.

«Ты можешь делать это только с одним, только с любимым!» – строго говорили мне романы и романсы, родители и родственники, актеры с экрана и лекторы с кафедры. И я не смела им возражать. Я только ощупью искала, как мне ужиться с недугом, который был сильнее меня, но у которого не было названия.

Возлюбленный, любовь?

Разве я посмела бы назвать любовью то, что происходило со мной? Конечно, я уже ошибочно узнавала момент, когда это начиналось. Будто холодный сквознячок врывается в горло и пробовал издать жалобный звук, предвестие всех этих «отвори поскорее калитку», «мой милый, что тебе я сделала?», «как ты красив, проклятый!». Будто невидимые струны натягивались из солнечного сплетения по всему телу – до кончиков пальцев, до ушей, до глаз – и производили солнечное затмение для меня одной. Будто километры пространства, отделяющие каждого человека от всех других, начинали стремительно таять между нами двумя, утекать, испаряться, и вот мы уже улыбаемся совсем-совсем рядом – только руку протянуть.

Не всегда сквознячок начинал дуть при первой же встрече, от одного внешнего облика (так созвучно «облаку»!). Иногда проходили недели и месяцы приветливого равнодушия, случайных, ничего не значащих улыбок, и вдруг – небрежно оброненная фраза, затянувшаяся пауза, долгий взгляд рождали во мне тот волшебный ветерок, ради которого только и стоило жить на свете.

Если бы катод и анод были живые, какими словами описали бы они нам момент сближения друг с другом? Это невидимое напряжение магнитного поля, в котором бумажные полоски вздымаются, как волосы от испуга. Эти железные опилки, трепетно слетающиеся в узор, как кордебалет на сцене. Это искрение крохотных молний, эти разряды, это потрескивание в ушах – как шепот грома.

О, как я стыдилась поначалу упоенного «да! да! да!», беззвучно клокотавшего в моем горле в такие минуты. Где же стихи и цветы, где вздохи под балконом и письма с золотым локоном, где девичья гордость, где лунные прогулки и гитарные романсы? Лишь годы спустя до меня понемногу стало доходить, что моя торопливость – как у бегущего через реку по плывущим бревнам. Скок, скок, скок – скорее! скорее! – пока он не открыл рот, не сказал пошлость, недохнул табаком и луком, не утопил высоковольтную дугу.

Однажды попались стихи сербской поэтессы, переведенные Ахматовой:

О, не приближайся! Только издалека
Хочется любить мне блеск очей твоих.
Счастье в ожиданье дивно и высоко,
Если есть намеки, счастье только в них.

Стихотворение называлось «Страх». Я заучила его наизусть и часто бормотала строчки себе под нос. Как мне был понятен сербский испуг! Приблизится – и все разрушит. Но уже знала, что «издалека» – не для меня. Я уж лучше буду прыгать – как через костер. Мой избранник часто не понимал, чего я боюсь, изумлялся бесстыжей торопливости, с которой я стягивала с него рубашку. Не знал, то ли гордиться ему, то ли оскорбляться. «Тебя, милый, твоей слоновьей неуклюжести боюсь! – хотелось мне крикнуть ему. – Порвешь сверкающую дугу – и даже не заметишь». Но молчала.

Пещера сладострастия – нет, мне было не выбраться из нее, если не светила сверху хоть крошечная лампадка, свечка любви. Успеть добежать до выхода из пещеры, пока не догорела эта маленькая свеча, не увял аленький цветочек ее огонька, пока ты еще светел передо мной, красив, неопознан.

Но как быстро они выгорали! Как мал был запас воска – масла – огня – у моих возлюбленных. Потому я и спешила, потому и не могла утолиться одним. Тот «в сердце луч золотой», о котором поют в старинных романах, был у меня всегда таким мимолетным!

Когда перестала стыдиться? Конечно знаю: после покушения. Сергачев был очень хороший мальчик, с исторического, – добрый, вдумчивый, начитанный. Мне нравилось с ним гулять, мы ходили в театры и музеи – золотой дождь льется в лоно Данаи, старцы подглядывают за Сусанной в бассейне, Диана купается в ручье. Он очень интересно рассказывал о далеких временах и легко отыскивал там свое любимое – что люди всегда были людьми и всем их делам и поступкам можно и нужно находить разумные объяснения.

Мама обожала его, мечтала, чтобы я сдалась наконец и вышла за него замуж. Но что я могла поделать, если волшебный ветерок не залетал мне от него в горло, искрящаяся дуга не возникала? Я старалась быть с ним доброй, приветливой, но ни о каких поцелуях не могло быть и речи.

Он пытался быть терпеливым. Но друзья доносили, что уныние гложет его все сильнее. Те же самые друзья, которые потом нашептывали ему: «А вчера ее видели с этим! Да-да, это точно... Подонки или нет, но, как грится, любовь зла – полюбит и – кого?»

Он пытался расспрашивать меня, «разумно выяснять отношения». Расспросы переходили в допросы. Я отказывалась отвечать, смеялась ему в лицо, убегала. Так тянулось год или больше. А потом он не выдержал – взял и неразумно зарезал меня. Нет, не фигурально – без ножа, а именно что ножом. Всадил с полной силой. Он ведь не мог знать, что я перед экзаменом спрятала под жакетом толстый блокнот с конспектами. «Попытка убийства, гражданин судья, иначе не назовешь».

Помню, как он шел ко мне по коридору. Сиял. Будто нес в подарок какой-то счастливый сюрприз. Девочки расступались, улыбаясь, давали ему дорогу. Он подошел близко-близко и, не говоря ни слова, ударил. Я смотрела ему в лицо и не видела, что у него в руке. Почувствовала сильный толчок, отступила, потом начала падать. Меня подхватили.

Все же кончик ножа пробил сто спасительных страниц и картонную обложку, достал. В больнице я сквозь туман слышала крики: «На стол! Немедленно!» Хирург потом объяснял мне, что рана оказалась неглубокой, сантиметра два. «Но, знаете, порой и одного сантиметра бывает довольно. Заденет артерию – и все».

Я пролежала неделю как принцесса, принимала посетителей. Вдруг явилась незнакомая старуха в седых кудряшках, села, не спросив, на стул и сказала укоризненно:

– Ну что, допрыгалась?

– А вы кто?

– Да бабка я ему, родная бабка. Сергачеву. Мать-то его все больше по лагерям и ссылкам, происхождение у нее по отцу классово неправильное, так я его и растила, солнышко мое родное. Ты зачем же его так извела-довела?

– Я не нарочно.

– То-то что не нарочно. А на суде что скажешь?

– Что ж я могу сказать? Ведь он меня убить хотел. Это все видели.

– Хотел бы убить, ты бы уже не в кроватке, а на два метра под землей лежала. Он ведь у меня спортсмен, специально обученный фехтовальщик. А мог бы и в темном парадном подстеречь, так чтоб никто не узнал. Нет, у него другое было на уме.

– Что же?

– Породниться с тобой хотел. Не вышло любовью, так хотя бы кровью. Это и в книжках сто раз описано. Я, когда с ним уроки готовила, много книжек прочла. Помнишь небось, как Алеко свою Земфиру аккуратно порешил? И Рогожин этот. И у Толстого про то же самое есть. Уж так он вкусно описал, с каким звуком кинжал корсет жены пробивает, что сразу видно: много раз он к своей Софье Андреевне примерялся. Себя, себя он в этом Позднякове изобразил.

– В Позднышеве.

– Позднышев, говоришь? А мне как-то привычнее Поздняков. Память уже не та. Ну, да все равно. Не в этом дело. Знаешь, смотрю я на тебя и понять не могу – чем ты его так приворожила? Ни виду в тебе, ни блеску.

– Я и сама не знаю. Но, клянусь вам, я с самого начала ему говорила, что только дружить будем. Ничем не обманывала, не завлекала.

– Что ж это получается? С остальными – нате пожалуйста, любиться до конца, а с ним – только дружить? Почему? И каково это мужчине стерпеть? Ты уж войди в его душу, пожалей соколика моего. Скажи судье, что это он только пугал тебя, да немного не рассчитал.

– А разве поможет?

– Еще как! Если сам порезанный зла не держит, это ох как помогает!

Я заверила старушку, что выполню ее просьбу. Она ушла успокоенная. Но в дверях задержалась, тряхнула кудряшками и спросила через плечо:

– А может быть, все же передумаешь и пойдешь за него? Вы ведь теперь кровью повязаны. А это такое дело – прочнее не бывает.

Я только покачала головой. Она ушла.

На суде я исполнила свое обещание. Сказала, что Сергачев добрый, заботливый, внимательный, умный. И что его поступок – результат минутного помешательства, иначе объяснить себе не могу. Его чуть подлечить, и он станет полезным членом общества. А про блокнот не создалась. Ему дали год условно, плюс лечение в психдиспансере. Но из института на всякий случай исключили.

Больше я его не видела. Знаю, что он окончил вечернее отделение, женился, родил двух детей, жил тихо-спокойно. А потом вдруг подрядился работать в северную экспедицию, уехал сначала на полгода, да так и застрял там, растворился в северном сиянии, исчез из виду. Жалко. В глубине души я была благодарна ему. Ведь, сам того не зная, он донес до меня тот счастливый сюрприз. Избавление от чувства вины. Его ножик сработал, как шприц с обезболивающим, как скальпель. Удаление опухоли стыда. Мертвые сраму не имут. Да и с раненых тоже спрос невелик. Так мне казалось тогда.

Однако настоящее облегчение – избавление – лучик надежды – примирение с собой, какая ни есть, – возникло только на третьем курсе. Когда я писала для зачета статью «Судьба русской женщины в поэзии Некрасова». И впервые услышала – прочла – запомнила – имя:

Авдотья Яковлевна Панаева, в девичестве – Брянская, по второму мужу – Головачева. За статью получила пятерку. А Авдотье Яковлевне написала большое-большое письмо, которое невозможно было показать никому-никому. Храню его до сих пор.

ПИШУ ПАНАЕВОЙ-НЕКРАСОВОЙ

Милая, милая Авдотья Яковлевна!

Вы вошли в мою жизнь так внезапно, таким живым, близким и нужным мне человеком, что я не испытываю никакой неловкости, обращаясь к Вам с этим заведомо безответным письмом.

Как мы узнаём родную, похожую душу, которая отделена от нас доброй сотней лет? Только вглядываясь в далекую чужую жизнь, вслушиваясь во вздохи и шепоты, всхлипы и стоны, пронесенные сквозь годы бумажными крылышками старинных книг. Читая Ваши «Воспоминания», я много раз хотела воскликнуть: «И я, и я поступила бы так же! Сказала бы те же слова, так же простила бы обидчика, отшатнулась бы от тех же людей, тех же – полюбила бы».

Хотела бы я Вашей судьбы?

Наверное, нет. Но о чем бы мечтала: с таким же достоинством пронести сквозь всю жизнь крест нашего общего недуга. Недуга столь скрытого, что у него до сих пор нет названия. Человека, не слышащего звуков, мы называем глухим. Не отличающего свет от тьмы – слепым. Не отличающего одну краску от другой – дальтоном. А как назвать человека, не испытывающего ревности? Порченным? Выродком?

Да, как Вы были правы, не поддаваясь, не уступая целых пять лет ухаживаниям Некрасова! Вы, видимо, угадывали, предчувствовали, что для него ревность – чуть ли не главная пьянящая добавка к вину любви. Сколько раз это слово мелькает в его стихах и письмах. Корней Чуковский в своей статье о Вас вывалил целую корзинку отысканных им примеров: «ревнивое слово», «ревнивые мечты», «ревнивая боязнь», «ревнивая печаль», «ревнивая тревога», «ревнивая мука», «ревнивая злоба». «Он был словно создан для ревности: замкнутый, угрюмый, таящийся».

Но с другой стороны, как же этот ревнивец принял ситуацию вашей жизни втроем? В одной квартире, увлеченно занятые общим делом – созданием «Современника». Ведь Панаев продолжал любить Вас до самой смерти. И Вы испытывали к нему самые теплые чувства. Те страницы, где Вы описываете, как он звал Вас уехать с ним в деревню, – не могу их забыть. И мог ли Некрасов, уезжая по делам, засиживаясь в клубе за картами, быть абсолютно уверен, что...

А вдруг, думала я, Иван Иванович Панаев был такой же, как Вы и я? Вдруг он тоже не имел, не знал, не понимал, что это такое – верность-неверность? Ведь он заводил романы на стороне много раз уже в первые годы брачной жизни с Вами, но любить не переставал – и Вы все прощали ему. Быть вместе с любимым, совсем-совсем вместе, так чтобы ни тесемки, ни ленточки, ни сорочки не осталось разделять нас, – мы понимаем, какая это радость, какое счастье. Но какой ущерб понесет наша радость, если мы узнаем, что наш возлюбленный вчера пережил, испытал нечто похожее с другой? С другим? Этого мы понять не в силах.

А ревнивец понимает. Или делает вид. Он заявляет, что ему непереносима даже мысль об «измене». Алеко достает нож, Арбенин подсыпает яд в мороженое, Позднышев сжимает рукоятку кинжала (при том, что жену не любит, почти ненавидит), Отелло проверяет, прочитаны ли Дездемоной вечерние молитвы. И знаете, именно здесь, именно когда я вчитывалась, вглядывалась в судьбу вашего треугольника, меня пронзила кощунственная догадка: *а вдруг ревнивцы притворяются?*

Нет, конечно, их боль и горечь неподдельны. Но не может ли быть, что эта боль и горечь вырастают просто из черной зависти? К чему? К нашей способности любить! Да-да – вдруг не мы обделены ревностью, а они обделены любовью? Их крохотное «люблю» легко вытесняется жирным «владею». И возмущаются они не ущербом, нанесенным их чувствам, а ущербом,

нанесенным правам собственника. Это они, обуреваемые жадой господства, жадой мести за свою обездоленность, выстроили тюрьму принудительного монопольного брака, они раздувают ужас перед «изменой», они выжигают красную букву позора на наших лбах.

Мы-то знаем, что завоевать любовь легче всего любовью же. А что делать человеку, если у него сердце пусто, как карман бедняка, и платить нечем? Ему ничего не остается, как предъявлять ту валюту, какая есть: страдания ревности. О, это нынче ходкий товар! Страдания ревности автоматически вызывают *сострадание*. А здесь уже спрятано первое зернышко любви. Недаром у русского простонародья «люблю» и «жалею» порой используются как синонимы. «Полюби – пожалей!»

Страдания ревности окружены почетом. Адвокат убийцы выложит их на суде – и присяжные купятся на приманку, уронят слезу, вынесут оправдательный приговор. «Ах, это так понятно, так по-человечески! И любой другой прирезал бы изменницу на его месте». «Да, ревность – неотъемлемая часть любви, поэтому люди и клянутся у алтаря быть верными друг другу до гроба». «Да, ты не должна никого больше любить, а то твой супруг будет мучиться ревностью».

Я бросилась перечитывать Ваши воспоминания. Но Вы так сдержанны в описании чувств – своих и чужих. Мне приходилось составлять картину из обрывков, из случайных штрихов, складывать, как кусочки головоломки.

Ваше детство в актерской семье.

Уже в семь-восемь лет Вы видели кружение любовных интриг за кулисами Александринского театра, слышали жаркие сплетни, обсуждали петербургских щеголей, бродивших под окнами театрального училища. И сам император не раз удостоивал репетиции своим посещением, взглядом знатока перебирал очаровательные ножки, открытые плечи, надутые губки – примеривался, делал зарубки, кивал головой адъютанту. Где уж тут девочке было усвоить строгие моральные правила, исполнения которых требуют от нас завсегда публичных домов?

А родители? Судя по всему, они оба были неплохими актерами. Публика ценила их, молодые таланты рады были поучиться лицедейскому мастерству. И этот эпизод, когда Ваш отец во время наводнения и бури прыгнул в лодку и уплыл спасать утопающих, а мать всю ночь умирала от страха за него. Не от него ли унаследовали Вы свою смелость?

Яков Брянский. Я знаю, что крестившимся евреям для паспорта часто придумывали фамилию, образованную от названия их родного города. Отсюда и появилось так много Варшавских, Минских, Львовых, Бакинских, Берлинов, Винницких, Белоцерковских. А Вы? Судя по портретам, в Вас должна была быть примесь еврейской крови.

Конечно, прочитав Вашу повесть «Семейство Тальниковых», я поняла, узнала, каким на самом деле кошмаром было Ваше детство. Маменька, равнодушная к болезням и смертям собственных детей, проводящая ночи за картами, нагоняющая страх на весь дом. Отец, нежно ухаживающий за пернатыми любимцами («чистил ноги своим жаворонкам...»), но в порыве бешенства способный пороть детей арапником до крови. Теснота и грязь в детской, мухи и тараканы в качестве главных игрушек, свары тетюшек и прислуги. И наказания, наказания, наказания за любую провинность и без всякой вины: голодом, холодом, розгой, стоянием на коленях. Не в этой ли школе научились Вы так ценить каждую каплю доброты, посылаемую Вам судьбой? И когда возник в Вашей жизни добрейший Панаев – богач, дворянин – и разглядел и оценил в девочке-подростке Ваш талант любви, – как Вы должны были потянуться к нему! Ведь это про Ваш роман, про Ваши чувства в конце повести?

«А почему могу я знать, что я его люблю?.. Может быть, ничего еще не значит, что время без него мне кажется длинно, что я не могу ни о чем думать, кроме него, не хочу ни на кого смотреть, кроме него?..»

Напротив, услышав его голос, я вся встрепенусь, сердце забьется, время быстро мчится, и я так добра, что готова подать руку даже своему врагу, Степаниде Петровне. Мне грустно

с ним прощаться, когда я знаю, что завтра не увижу его. Что же будет со мной тогда, когда я совсем не буду его видеть?»

Все же мне хотелось бы больше знать про вашу жизнь с Панаевым до появления в ней Некрасова. Говорят, он был влюбчив, часто увлекался другими (ненавижу слово «изменял»). Но вы оба так немногословны на этот счет в своих воспоминаниях. Судя по всему, он по доброте страдал, когда доводилось огорчать других. В любой ссоре был готов обвинять в первую очередь самого себя. Тяжело переживал раздоры друзей, прощал обиды и подвохи, клеветы не сеял, зла не держал. Собирался описать в мемуарах Достоевского, Тургенева, Толстого, но все они к тому времени порвали с «Современником» – и глава осталась ненаписанной. «Ведь я человек со вздохом», – комически говорил он, оправдываясь перед друзьями за очередное проявление мягкотелости.

Правда, издателя «Отечественных записок» Краевского вывел в презлом фельетоне, обозвал «литературным промышленником». Но несправедливо. Все же этот человек в 1840-е годы, в труднейших цензурных условиях, вел лучший русский журнал, печатал Лермонтова и Некрасова, Герцена и Огарёва, открыл публике Тургенева и Достоевского, Грановского и Григоровича, взял на жалованье неблагонадежного Белинского. Ох, как легко мы в России забываем заслуги «промышленников», как долго не прощаем им то, чем не обладаем сами, – умение аккуратно вести бухгалтерские книги.

Вы были рады, что Вам не пришлось жить в поместье, доставшемся Панаеву в наследство, видеть страдания крепостных. Сцена дележа имений между наследниками воссоздана Вами душераздирающе. Я имею в виду то место, где описан раздел дворовых.

«Разделенные части должны были доставаться наследникам по жребию. При вынимании билетов на имение было ужасно смотреть на наследников: все стояли бледные, дрожащие, шептали молитвы, глаза их сверкали, следя за рукой дворового мальчика, который, обливаясь горькими слезами от испуга, вынимал билеты...

Но самое потрясающее впечатление произвел на меня раздел дворовых.

Посредник сначала хотел разделить дворовых по семействам; но все наследники восстали против этого.

– Помилуйте, – кричал один, – мне достанутся старики да малые дети!

Другой возразил:

– Благодарю покорно, у Маланьи пять дочерей и ни одного сына, нет-с, это неправильно, вдруг мне выпадет жребий на Маланью.

Порешили разделить по равной части сперва молодых дворовых мужского пола, затем взрослых девушек и, наконец, стариков и детей.

Когда настало время вынимать жребий, то вся дворня окружила барский дом, и огромная передняя переполнилась стенаниями».

О Вас в воспоминаниях Панаева, кажется, единственное место: «Моя жена очень дружила с женой Грановского». У Вас про него – гораздо больше и с настоящей теплотой. Особенно тот разговор, который произошел у Вас с ним незадолго до его смерти. Он звал Вас пожить с ним в деревне, обещал, «что ты не увидишь во мне прежних моих слабостей, за которые я так жестоко поплатился. Я сам себе был злейшим врагом и сам испортил свою жизнь... Только тогда, когда мне пришлось пережить страшную нравственную пытку, я понял, кто бескорыстно желал сделать мне хорошее и кто вред».

Значит, была «нравственная пытка»? Значит, нелегко давался ему ваш семейный треугольник? Не в наказание ли себе он смирился с ним, не принял ли как возмездие за свои романы и вертопрахство? А ядовитый Писемский при этом печатает в своей «Библиотеке для чтения»: «Интересно знать, не опишет ли г. Панаев тот краеугольный камень, на котором основалась его замечательная в высшей степени дружба с г. Некрасовым?»

И несмотря на все это, Панаев изыскивал деньги на издание «Современника», поддерживал его всеми силами, замещал Некрасова на посту редактора, когда тот разъезжал с Вами по границам. Правда, о Некрасове в его воспоминаниях тоже очень мало. Может быть, злых слов писать не хотел, а других – не находил?

Знаете ли Вы, что о Вашей красоте ходили легенды? Вы могли видеть только тех, кто ухаживал за Вами в открытую. Но за Вашей спиной Вас восхваляли такие ценители, как граф Соллогуб, Афанасий Фет, Павел Ковалевский, Александр Дюма, Николай Чернышевский. Молодой Достоевский писал брату, что влюблен в Вас. Судя по всему, и Белинский не остался равнодушным к Вашим чарам, и Герцен, и многие, многие другие.

Влюбленный Некрасов посвятил Вам десятки стихов.

Прошедшее! Его волшебной власти
Покорствуя, переживаю вновь
И первое движение страсти,
Так бурно взволновавшей кровь,
И долгую борьбу с самим собою,
И не убитую борьбою,
Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.
Как долго ты была сурова,
Как ты хотела верить мне,
И как и верила, и колебалась снова,
И как поверила вполне!
(Счастливый день! Его я отличаю
В семье обыкновенных дней;
С него я жизнь мою считаю,
Я праздную его в душе моей!)

Но судьба безжалостна к вам обоим: в тот же 1848 год, который должен был быть таким счастливым, умирает ваш первый – и единственный – ребенок.

Поражена потерей невозвратной,
Душа моя уныла и слаба:
Ни гордости, ни веры благодатной —
Постыдное бессилие раба!

Ей все равно – холодный сумрак гроба,
Позор ли, слава, ненависть, любовь, —
Погасла и спасительная злоба,
Что долго так разогревала кровь.

Я жду... но ночь не близится к рассвету,
И мертвый мрак кругом... и та,
Которая воззвать могла бы к свету —
Как будто смерть сковала ей уста!

Лицо без мысли, полное смятенья,
Сухие, напряженные глаза —
И, кажется, зарею обновленья
В них никогда не заблестит слеза.

Да, похоже, слезы Вам давались нелегко. А чего стоит этот отчаянный оксюморон: «спасительная злоба, что долго так разогревала кровь»! Не боялся признаваться – смело, смело.

Но какой же страшный это был для вас обоих год! Не только смерть ребенка, но и все остальное. Арестован и приговорен к расстрелу Достоевский. Из-за французской революции цензура свирепствует так, что хоть выпускай «Современник» с пустыми страницами. Друзья мечутся в панике. Боткин требует вернуть ему все письма, чтобы немедленно сжечь их. Мало ли в чем ошалевшая полиция найдет крамолу!

Мне кажется, что очень скоро Некрасов попытался поменять ваши роли, начал поучать, вести куда-то, к дорогим ему видениям светлого будущего, просвещать ум и сердце. И сердился, когда Вы не поддавались.

Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, —
Нам рано предаваться ей!

Но ирония была одним из пряных цветков в букете Вашего очарования! Как пронизаны ею Ваши пикировки с Герценом, с Дюма, как безжалостно остроумны описания Тургенева, Достоевского, Решетникова. И порой Некрасов поддавался, даже заражался ею.

Разве не забавно описал он крушение своих просветительских усилий?

Я читал ей Гегеля, Жан-Поля,
Демосфена, Галича, Руссо,
Глинку, Ричардсона, Декандоля,
Волтера, Шекспира, Шамиссо,
Байрона, Мильтона, Соутэя,
Шеллинга, Клопштока, Дидеро...
В ком жила великая идея,
Кто любил науку и добро;
Всех она, казалось, понимала,
Слушала без скуки и тоски
И сама уж на ночь начинала
Тацита читать, надев очки.

И к чему же все пришло?! Увы...

Тут предстала страшная картина...
Разом столько горя и тоски!
Растерзав на клочья Ламартина,
На бумагу клала пирожки
И сажала в печь моя невеста!!
Я смотреть без ужаса не мог,
Как она рукой месила тесто,
Как потом отведала пирог.
Я не верил зрению и слуху,
Думал я, не перестать ли жить?
А у ней еще достало духу

Мне пирог проклятый предложить.
Вот они – великие идеи!
Вот они – развития плоды!
Где же вы, поэзии затеи?
Что из вас, усилья и труды?
Я рыдал...

Да, пирожки... Многим Вы запомнились хлопчущей у печи, накрывающей на стол, разливающей чай, отправляющей слуг за провизией. То заработавшийся Белинский шлет Вам в полночь записку, умоляя покормить; то Тургенев просит присылать ему обеды в тюрьму, потому что тюремного есть не может; то Панаев бежит к Вам в панике: «Дюма нагрязнул на дачу с целой свитой – чем кормить?!» Да и Некрасов, наверное, не раз подкреплялся пирожками, не спрашивая, в чьи страницы они были завернуты.

Но кажется, что за иронией он прячет одно горькое разочарование: возлюбленная равнодушна к его стихам. И похоже – вообще к поэзии. В Ваших воспоминаниях не процитирована ни одна стихотворная строчка, не описано ни одно сильное переживание, связанное с кумирами ваших дней – Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским.

Зато Вы так чувствительны к *красоте душевных движений*. А если видите что-то уродливо-постыдное, умеете поддеть это на копье иронии. Ваш сарказм – бедный Тургенев! – убийствен, Ваши упреки больно попадают в цель. И уж он отплатил Вам, в письмах и разговорах не щадил. Из его письма к Марии Николаевне Толстой (1857):

«Я Некрасова проводил до Берлина; он уже должен быть теперь в Петербурге. Он уехал с госпожой Панаевой, к которой он до сих пор привязан – и которая мучит его самым отличным манером. Это грубое, неумное, злое, капризное, лишенное всякой женственности, но не без дюжего кокетства существо... владеет им как своим крепостным человеком. И хоть бы он был ослеплен на ее счет! А то – нет... Тут никто ничего не разберет, а кто попался – отдувайся, да еще чего доброго, не кряхти».

И Некрасов «отдувается», оправдывается, прячется от Ваших обвинений за смертельно опасную болезнь, «кряхтит» стихами:

Тяжелый год – сломил меня недуг,
Бедя застигла, – счастье изменило, —
И не щадит меня ни враг, ни друг,
И даже ты не пощадила!
Истерзана, озлоблена борьбой
С своими кровными врагами,
Страдалица! стоишь ты предо мной
Прекрасным призраком с безумными глазами!
Упали волосы до плеч,
Уста горят, румянцем рдеют щеки,
И необузданная речь
Сливается в ужасные упреки,
Жестокие, неправые... Постой!
Не я обрек твои молодые годы
На жизнь без счастья и свободы,
Я друг, я не губитель твой!
Но ты не слушаешь...

«Не щадит меня ни враг, ни друг...» – о чем это? «Озлоблена борьбой с своими кровными врагами» – о ком здесь идет речь? Не о той ли истории с «огарёвскими деньгами», которая мучила вас обоих многие годы, растекалась злой молвой, чернящими слухами?

Я честно пыталась разобраться, кто там был прав, кто виноват. Рылась в архивах, перечитывала пожелтевшие письма, расписки, векселя, закладные. Картина постепенно проступала, но все контуры и силуэты оставались размытыми. Поняла, что Вы дружили с первой женой Огарёва, Марьей Львовной. И когда она разошлась с мужем, вы пытались помочь ей обеспечить финансовую сторону развода. Уехав за границу в 1847 году, та оставила Вам доверенность на ведение ее дел. С этого все и началось – не так ли?

Марья Львовна очень ценила Вашу поддержку. Вам было бы интересно узнать, как в одном письме к родным она попыталась сравнить Ваш душевный склад со своим:

«Евдокия – практический характер, противоположный моему, но приносящий мне благодетельное действие... я с ним твердею... Он благоразумен, храбр, последователен... Таковым представляется он мне – слабой, чувствительной... Мы любим в человеке противоположный нам нрав, потому что устаем от зеркала, повторяющего нашу слабость... В ней твердость есть произведение ее натуры, здоровой, цветущей, оконченной... Не люблю я слабости, а сама не родилась для твердой воли и обдуманных действий».

Люди безвольные часто выставляют свою слабость в утрированном виде, чтобы получить побольше помощи от окружающих. Мне кажется, Вы слишком увлеклись своей ролью помощницы и спасительницы и не в силах были отказаться от нее, даже когда Вам стало ясно, что Марья Львовна вполне способна с диким упрямством преследовать свои корыстные цели. Как Вы уговаривали ее дать, наконец, развод несчастному Огарёву! Но она уперлась как пень. Ее вполне устраивало, чтобы он исправно выплачивал ей восемнадцать тысяч в год, а она бы на эти деньги жила в Париже со своим любовником – художником Воробьевым. Многие друзья, включая Герцена, взывали к ней, пытались объяснить, что выплаты будут продолжаться в соответствии с подписанными Огарёвым обязательствами. Взыскательная женщина оставалась непреклонной, до тех пор пока не вмешался арбитр, с которым не поспоришь, – смерть. В 1853 году Марья Львовна умирает, и вся драма вокруг денег вступает во вторую фазу – еще более запутанную.

Правда ли, что Вы так полностью доверились ловкому финансисту Шаншиеву, что поручили ему распоряжаться капиталом и имением, с которого выплачивалось содержание покойной? Как я поняла, этот изворотливый делец успел заложить имение, а деньги пустить в оборот. Извлечь их так быстро для возврата Огарёву было невозможно. Отсюда и поползла молва, будто Вы с Некрасовым присвоили деньги. Даже тот факт, что при первой возможности, в 1857 году, Вы – без всякого суда – вернули Огарёву сорок тысяч рублей, ничего изменить не мог. Злая сплетня не остывала. Герцен до конца жизни поносил Некрасова последними словами, считал его виноватым и отказался принять его в Лондоне и выслушать его оправдания. (Не про это ли строчка – «не щадит меня ни враг, ни друг»?)

В общем, у меня сложилось впечатление, что обвинить Вас можно было только в преувеличенном представлении о собственных деловых способностях и о честности российских дельцов. Ловкий Шаншиев легко манипулировал Вами, представляя свои ходы законными и безопасными. Вы нарушили собственный совет-увершение, данный в свое время в письме Марье Львовне: «Теперь скажи мне, серьезно ли ты хочешь купить землю в Риме для дохода? Если это так, то я удивляюсь тебе, как можно быть такой дитей в твои лета. Где нам справляться с собственностью, когда мы и с собой не умеем сладить».

Еще одно Ваше пленительное свойство приоткрылось мне: Вы всегда умели (чуть не добавила «как и я») самозабвенно радоваться своим возлюбленным, как будто видели их в первый раз. Они могли куролесить на стороне, обижать Вас, надолго исчезать без предупреждения. Но появятся вновь – и Вы летите им навстречу, радостная улыбка на лице. Никаких

попыток предъявить счета обид, никаких поползновений превратить их чувство вины в удобную цепочку, хомут, вожжи.

«Я и не думал и не ожидал, – писал Некрасов в интимном письме, – чтобы кто-нибудь мог мне так радоваться, как обрадовал я эту женщину своим появлением. Она теперь поет и попрыгивает, как птица». И в другом: «Я очень обрадовал Авдотью Яковлевну, которая, кажется, догадывалась, что я хотел от нее удрать... Но что мне делать из себя, куда, кому я нужен? Хорошо и то, что хоть для нее нужен».

Иногда мне приходило в голову: а не пытался ли Некрасов своими эскападами пробудить в Вас ревность? Не был ли он в плену их старинной формулы: «не ревнует – значит, не любит»? Ведь, кроме Вас, никаких серьезных и длительных увлечений в его жизни не было.

Но снова и снова: при такой способности радоваться – почему Вам приходилось так много отмалчиваться? Многие отмечали Вашу замкнутость, неучастие в шумной литературной беседе.

«Я заметил, что вы ни с кем не разговаривали весь обед», – замечает Добролюбов при вашей первой встрече.

«Я так давно знаю всех обедавших, что мне не о чем с ними разговаривать», – отвечает Вы.

Не знаю, поверил ли Добролюбов, но я не верю. Мы знаем, что старинные друзья могут болтать часами и даже прощать друг другу повторение историй, шуток, анекдотов. Мы умолкаем обычно тогда, когда теряем надежду быть услышанными. Когда наш восторг объявят неразборчивостью. Высказанное неодобрение назовут злословием. Когда в ответ на вырвавшуюся шутку мы слышим «я не люблю иронии твоей».

Правда, бывает еще одна причина нашей молчаливости. Мы устаем от грехов и слабостей наших возлюбленных, но мы так же устаем от их достоинств. Достоинства давят, заставляют сравнивать возлюбленного с собой, выпячивают наши слабости, несовершенство. О, пусть бы кто-нибудь вслух сказал, что это нам нормально – уставать друг от друга! Пусть бы перестали взваливать на нас эту непосильную ношу – требование вечной и неизменной и неослабной любви! Обделенные, безлюбые, завидующие – это они отыскивали способ унижать и разрушать невыполнимыми требованиями доставшийся нам дар любви не вечной. Но если они победили – не значит ли это, что их больше, чем нас?

Еще одна обида должна была точить Вам сердце. Ваш литературный дар был отодвинут окружающими «Современник» литераторами на задний план, словно мебель, отслужившая свой срок, словно кадка с запылившейся пальмой. А ведь Вы написали несколько романов совместно с Некрасовым, Ваше «Семейство Тальниковых» хвалил сам Белинский.

И было за что!

Какие типажи проходят в этой повести, какие гоголевские персонажи! Не забуду рыжую гувернантку, мечтавшую о женихе, заставлявшую Вас затягивать ей корсет так, что лицо раздувалось от прилива крови. А этот дядюшка, облюбовавший только две темы для разговора: как знатно он порол сегодня несчастного племянника, порученного его просветительным заботам, и какой виноград он едал однажды в Курске. А дед, читавший только календарь с гороскопами и изводивший всех почерпнутой оттуда премудростью на каждый месяц: «в сентябре тебе будет счастье во всем, октябрь для тебя не хорош, в феврале можешь делать покупки, продажи...»

Если бы эта повесть была напечатана сразу по написании в 1847 году, она оказалась бы хронологически первой в ряду знаменитых русских повестей о детстве: Льва Толстого, Сергея Аксакова, Гарина-Михайловского, Горького. Считается, что ей просто не повезло: грянула февральская революция в Париже, и российская цензура взбесилась, готова была запрещать биржевые новости. Но я не верю. В повести есть такая прямота и ясность взгляда на жизнь и людей, что охранитель и лицемер должен был вознегодовать на нее в любую эпоху. То, что цензор Бутурлин писал на полях рукописи – «цинично, безнравственно, неправдоподобно, не

позволю за безнравственность и подрыв родительской власти», – будет kloкотать в сердцах родителей-тиранов при всяком правлении – до, во время и после любых революций.

И теперь – о Добролюбове. Мне так интересно! Ведь к моменту встречи с ним Вы, судя по всему, разочаровались в прекраснoдушных болтунах и краснобаях. Тургенев, Толстой, Достоевский порвали с «Современником», оставшиеся сменяли друг друга и мельчали с каждым днем. Серьезность Добролюбова должна была Вас пленить так же, как размашистая непредсказуемость Базарова пленила Одинцову в тургеневском романе. Слишком много в Ваших воспоминаниях рассыпано примет, по которым видно, что вас связывало нечто большее, чем дружба.

Вот он поселяется в вашей квартире на Литейном проспекте. (Теперь вас уже четверо?) Привозит своих младших братьев, в которых Вы принимаете такое горячее участие. Заботливо кормите его, защищаете от нападoк. А это его письмо к Вам за границу, с просьбой-мольбой приехать как можно скорее. И Вы немедленно все бросаете и летите на его зов. И потом долго ухаживаете за умирающим. А когда выходит посмертно первый том его собрания сочинений, Вы с изумлением обнаруживаете в нем посвящение: «Авдотье Яковлевне Панаевой». И хотя в тексте автор посвящения – Чернышевский – пользуется только словами «дружба», «сестра», мне так хотелось бы верить, что Вашему дару любить и здесь дано было вспыхнуть и отгореть ярким светом.

Сколько же дорогих людей довелось Вам оплакать? Белинский, собственный сын, Добролюбов, Панаев, Некрасов... И как я была счастлива за Вас, когда узнала, что уже на закате женской судьбы, в последнем супружестве, Вам дано было родить дочку, которая выросла здоровой и украшала и освещала последние годы Вашей жизни.

Сподобились Вы и другой милости небес: Ваш литературный дар не ослаб, не оставил Вас и дал сил на семидесятом году – пусть в бедности, пусть ради заработка – создать произведение, которое навсегда включено теперь в скрижали русской литературы.

Прощайте, милая А. Я. (только сейчас заметила, что Ваши инициалы символично открывают и закрывают русский алфавит), и примите мою благодарность за то, что не скрыли свой путь, судьбу, сердце и дали мне пережить это счастливейшее чувство: Я НЕ ОДНА ТАКАЯ!

2. ПАВЕЛ ПАХОМОВИЧ

Вчера повезла за город Пал Пахомыча, устроила ему пикник на берегу озера. Он по-прежнему любит все, что ему нельзя после операции: сардины в масле, копченую колбасу, темное пиво. Я потакаю, езжу за деликатесами для него к черту на рога. Нога, из которой брали вену для устройства обводного туннеля вокруг сердца, заживает плохо. Больно было смотреть, как он бредет от машины к столику, отталкивая асфальт суковатой палкой. Но, усевшись на скамейку и отдышавшись, он просиял, благодарно погладил меня по плечу. Потом обвел ладонью далекий сосняк, кувшинки на воде, первые желтые листочки на кустах и сказал:

– Как Он это все умеет... Сколько раз ни гляди – все равно дух захватывает... Никогда не скучно...

Мы не виделись больше месяца. Мне не терпелось рассказать ему о последней выходке Глеба. Который заявил, что, если я не уйду от мужа, он явится к нему сам и все расскажет. Что мне делать? Я Додика ни за что не брошу и все сделаю, чтобы его оградить-защитить. Он и так со мной за двадцать пять лет всякого натерпелся. Он добрый и лучше всех. Но и Глеба просто прогнать – негу сил. Как услышу его голос в телефоне – сквозняк поднимается в горле такой, что слова выговорить не могу. Что делать?

– Ты говорила, он сам женат, трое детей.

– Обещает, что сразу уйдет. Одно мое слово – и подает на развод.

– На сколько он тебя моложе?

– На двенадцать лет! Слышанное ли дело? «Зачем тебе такая старуха?» – говорю ему. И слышу в ответ: «Не кокетничай. Прекрасно знаешь – зачем. Чтобы выжить. Да-да: физически остаться в живых». Прямо шантаж какой-то.

Пал Пахомыч – мой единственный наперсник. Только с ним могу высунуться из своего вечного маскировочного окопа. «Вы моя лучшая, моя любимая подруга», – говорю ему, когда расчувствуюсь. Он живет один. Жена отказалась ехать с ним в Америку, осталась с детьми в Ленинграде. Он работал в документальном кино, много лет тайно собирал кадры для фильма об отравлении русских рек и озер. Хотел открыть миру глаза. Все бросил, уехал, вывез свой фильм. Но оказалось, что здесь и своих отравленных вод хватает, чужими не удивишь, не взволнуешь.

Дальше – обычная эмигрантская судьба. Случайные заработки там и здесь, съемка свадеб, рекламные ролики про русские рестораны и лавки. Газеты не платят, телестудии закрываются. Непризнание, одиночество, старость, болезни. У себя в университете я устроила ему несколько выступлений, показ фильма. Но с тех пор как Россия перестала быть грозной тайной для всего мира, интерес к ней падает, как проколотый дирижабль. У меня и самой студентов едва набралось на два курса, работаю только три дня в неделю. Додик со своей математикой – главный кормилец. Но и ему могут помахать ручкой в любой момент. Продлят или не продлят контракт – ежегодный страх и трясение поджилкок.

– Кому пишешь? – спрашивает Пал Пахомыч, вытирая пивную пену с усов, подцепляя на вилку лепесток ветчины.

– Только готовлюсь. Очень хочется написать Льву Николаевичу. Но он такой большой – девяносто томов росту. Нужен долгий разгон.

– Что ж ты ему напишешь? Он ведь, кажется, после женитьбы перестал шалить. За юбками не гонялся, седьмую заповедь соблюдал.

– Соблюдал – да только стиснув зубы. Уж лучше бы куролесил по-прежнему. Проповедовал любовь ко всем, а сам не в силах был полюбить хотя бы собственную жену. Которая нарожала ему кучу детей.

Пал Пахомыч – один из немногих, кому я давала читать свои письма к умершим писателям. Он потом говорил мне, что после этих писем шел в библиотеку, находил книги моих адресатов и читал их будто заново. Лестно. Сам Пал Пахомыч пишет только крохотные виньетки в несколько строчек. Иногда в одну. Иногда в два слова. Например: «Общечеловеческое – бесчеловечно». Пишет для себя. «Нет, – говорю я ему, – и для меня тоже. Ну-ка дайте, что там у вас накопилось за два месяца. Знаю-знаю: ни в журналы, ни в газеты не давать, если цитировать, то не называя автора. Просто: как сказал один непризнанный мудрец...»

Пал Пахомыч ужасно щепетилен. Не дай бог, подумают, что он рисуется. Гордец. Ненавидит быть просителем, ненавидит быть в толпе. Из-за этого никогда не пошлет свои виньетки в редакции, не напишет ничего большого, законченного. Фильм про отравление вод и земель – там было оправдание, была серьезная спасательная задача. А без такой сверхзадачи вылезать на публику – стыдно. Талант в клетке морали, парализованный вдобавок тонким вкусом. «Садился он за клавикуды и брал на них одни аккорды...»

– Ларошфуко, Паскаль, Лихтенберг, Шопенгауэр, Ницше печатали свои афоризмы, – уговариваю я. – Почему вам нельзя?

– Эка хватила. В России все скромнее. Называется «Записные книжки». Чехова, Ильфа, Олеси. Печатается посмертно.

– Ладно, будем ждать. Нам не к спеху.

Такой вот трупный юмор.

После пикника я везу его домой. Мы поднимаемся на лифте в его крохотную захлавленную квартирку. Книжные стеллажи – под потолок. Одна стена отдана целиком видеолентам. Старинная пишущая машинка с трудом отбивает место на столике от журналов, конвертов, газет, фотографий.

Я веду его в спальню, помогаю раздеться. Вообще, все делаю сама. Он мешает мне, поминутно хватая мою руку и прижимая ее к губам. Я почтительно провожу пальцем по шраму на его груди, по скатам живота, по отросшим титькам, глажу по щеке. Мой паровоз привычно набирает скорость, но где-то на заднем плане, на горизонте. С Пал Пахомычем мне так нравится забывать о себе, не получать, а дарить. Нет, мимоходом я успеваю урвать свою волну тоже, но главное – доставить к месту назначения его драгоценный груз. И когда он испускает свой крик раненой птицы, я испытываю толчок такого блаженства, торжества, гордости – прямо как дирижер на последнем взмахе палочки, в финале концерта.

Он лежит обессиленный, слабо гладит меня по бедрам и бормочет:

– Праздник ты мой... Праздник мой золотой... За что ты мне?..

Но я вскакиваю и превращаюсь обратно в Золушку на кухне. Окна – протереть, посуду в раковине – перемыть, грязное белье – забрать в стирку, холодильник – перебрать, расчистить, выбросить гнилье, заполнить новыми продуктами.

– Смотри, мы забыли открыть лососину! Не дай ей пропасть. Срок годности – через две недели.

И напоследок подкрадываюсь к пишущей машинке, вынимаю из нее листок, покрытый бледными строчками.

– Можно? Я сниму себе копию и верну. Ты же меня знаешь...

Он кивает, улыбается, слабо машет мне рукой.

ЛИСТОК ИЗ МАШИНКИ П. П.

Он жил в мире ирреальных представлений. И знал это. Единственной реальностью в этом мире была его душевная боль. Именно поэтому он цеплялся за нее и раздувал до предела. Чтобы оставаться на почве реальности.

В старину цивилизованные люди брезговали ходить на базар, посылали поваров и служанок. В наши дни базар отомстил им и пролез рекламой в каждый культурный дом через главные достижения цивилизации: газету, радио, телевизор, компьютер, телефон.

Эрос может задеть своей стрелой любого человека очень рано, даже в детстве. Но только дети с богатым воображением сумеют потом снова и снова вызвать в памяти это блаженное ранение, доводя случайность до прочного – порочного – на всю жизнь – сексуального пристрастия. Поэтому-то среди художников, музыкантов, поэтов так много эротических уклонистов и фантазеров. Богатое воображение – вот главный виновник их разрушенной судьбы.

Писатель бредет среди людей, как корова среди луговой травы: в любую минуту можно остановиться, начать кормиться, заглатывать зеленую поросль чужих чувств и переваривать ее в млеко продолжения жизни, продолжения прозы.

Говорим про верующих: «Они спасутся». А думаем: «Их запомнят».

Русским должна быть утешительна история распада Древнего Рима. Как и римляне, не от глупости и беспомощности мы разваливаемся на части – от собственной непосильной мощи.

«Мы» опутало «я» сотнями запретов. И главный из них – запрет совокупляться легко и свободно, по зову сердца и плоти, как звери и птицы. Недаром все языки мира, не сговариваясь, используют слова, означающие соитие, как ругательства – то есть предельное выражение протеста, неподчинения, неподцензурного гнева.

Талантливое всегда непредсказуемо. Но в перевернутом виде – «непредсказуемое всегда талантливо» – формула не срабатывает. Поэтому на одной непредсказуемости никаким пост-, супер- и архимодернистам не выехать.

Аскетизм – это сражение с животной природой собственного тела. «Нет, над душой моей ты не властно!» – вот вызов, который бросает телу аскет. И даже иногда побеждает.

– Раз я не отличаю Добра от Зла, – говорит детерминист Господу, – значит, я не ел яблока с Древа Познания и первородный грех на мне не лежит.

В Америке все виды охоты и рыболовства стеснены тысячами правил и запретов. Только рекламным хищникам разрешено охотиться на откормленных дураков-покупателей во все времена года без всяких ограничений.

Для большинства людей смысл любого спора – сказать ярче, хлеще, эффектнее и тем подавить, унижить, обескуражить оппонента. Лишь единицы способны насладиться своим поражением в споре, если оно вдруг помогло обоим спорящим приблизиться к Истине.

Религиозное – это стрелка компаса, сверяясь с которой мы должны прокладывать этический курс своего жизненного корабля. Если бы все люди плыли напрямик туда, куда указывает религиозный компас, мы все застряли бы в Ледовитом океане отчаяния.

3. РОДИТЕЛИ

«Наша граница на замке!», «Враг не пройдет!», «Будьте бдительны!». Все школьные стены были увешаны плакатами, они призывали, обещали, уговаривали, приказывали. В те годы увидеть где-то живого иностранца – это было приключением, о котором счастливец мог хвастать неделю. Только моя мать ухитрялась проводить большую часть своей жизни за границей. Независимое государство, в которое она уезжала без визы и паспорта, называлось Королевство Книги. Реальная, волнующая жизнь протекала только там. К нам она возвращалась ради дел низменных, печально неизбежных: постирать, приготовить обед, сходить в булочную, заштопать носки.

Если верить семейной легенде, мать родила меня с книгой в руках. Ей дали на три дня второй том Пруста, а мне как раз в эту неделю приспичило появиться на свет. Отец уверял, что в перерывах между схватками она продолжала читать. Возмущенная акушерка заявила, что снимает с себя всякую ответственность за жизнь новорожденной. Насасываясь материнским молоком, я видела над собой не лицо матери, а твердую обложку с золотой надписью «Аксаков». Уверена, что многие буквы алфавита просочились в мое сознание раньше, чем я научилась говорить.

В своем независимом государстве мать занимала важный пост: заведовала отделом художественной литературы в библиотеке крупного научно-исследовательского института. Правда, большинство книг в этой библиотеке были заполнены учеными формулами, чертежами и графиками, которых мать не понимала. Но это как раз создавало добавочный ореол серьезной таинственности. Молитвенная тишина библиотечного зала предвещала священнодействие. Ученые смотрели с портретов на стенах вдумчиво и укоризненно, как святые с икон.

Не помню, чтобы мать когда-нибудь неодобрительно отозвалась или – не дай бог! – осудила, отвергла какую-нибудь книгу. Любая пачка страниц, заключенная в твердую или мягкую обложку, была правомочным гражданином ее страны, требующим уважения, охраны, защиты. Она могла порвать отношения с человеком только за то, что он посмел употребить книгу как подставку для горячего чайника. Вырванная страница вызывала у нее гримасу сострадания. Распотрошить том Ламартина ради пирожков – не было бы Вам, Авдотья Яковлевна, прощения. Печи, которые замерзающие жители осажденного Ленинграда топили собраниями сочинений, были в ее глазах более страшным преступлением Гитлера, чем печи Освенцима.

Книги были важнее их авторов. Авторы могли вести беспутную жизнь, пьянствовать, проигрывать в карты своих крепостных, плодить незаконнорожденных детей – это ничуть не принижало написанные ими книги. Ибо каждое слово там было уже навеки закреплено на своем месте, в своей строчке, на своей печатной странице и обретало таким образом священную неизменность. Эта неизменность наполняла душу матери покоем, уверенностью, счастьем.

Конечно, за долгие годы работы в библиотеке ей не раз приходилось участвовать в изъятии с полок каких-то сочинений, оказавшихся неправильными. Сверху спускали циркуляры со списками книг, ставшими на сегодняшний день идейно чуждыми, и сотрудники послушно шли вдоль стеллажей, выковыривая из книжных рядов осужденные тома и брошюры. Но мать рассказывала об этом легко, без горечи. Если у вас есть независимое государство, нужно быть готовым к тому, что среди законопослушных граждан найдутся нарушители, отщепенцы, преступники. Удаление их из общей жизни, изгнание – необходимая мера, оправданная самозащита. С такими мать расставалась без сожалений.

Она вообще не знала сожалений. Мне было шесть лет, когда она решила расстаться с отцом. Он был в отчаянии, умолял ее простить, дать ему возможность исправиться, искупить. Она искренне не понимала, о чем тут можно говорить. Факт измены имел место? Имел. Обвиняемый сознался? Сознался. Не важно, что мимолетно, не важно, что в другом городе. В сле-

дующий раз тебя снова пошлют в командировку – откуда я буду знать, что ты там не телефонную сеть чинишь, не проводочки ощупываешь, а что-то другое? Нет, по законам Королевства Книги все ясно и просто: измена должна караться разлукой. Обжалованию не подлежит.

Так я осталась без отца. Горевала ли? Не помню. Половина ребят в нашем классе были послевоенная безотцовщина. А тем, у кого оставались, завидовать не приходилось. То и дело от них слышались жалобы: «Батя вчера опять завалился пьяный, мамку – по уху, меня – ремнем. Хоть бы скорее допился до белой горячки. Или под самосвал угодил, как Колькин. Везет же некоторым».

Училась я без натуги, уроки делала быстро, получала свои четверки. В отличницы не рвалась. Любила, когда школьная рутина нарушалась походом на выставку, в зоологический сад, на природу. В Музее обороны Ленинграда застаивалась перед панорамой воздушного боя над городом. Подвешенные на проволочках самолеты с красными звездами слегка раскачивались, другие – с черными крестами – устремлялись вниз, волоча за собой дымный хвост. Фугасная бомба стояла торчком, будто кто-то поймал ее на лету и осторожно поставил на постамент. Простой огнетушитель или пожарная кирка, спрятанные в стеклянный ящик, утрачивали свою обыденность, превращались в Историю, в то, что изменить будет нельзя никогда и никому. Мне нравилось это.

А в шестом классе нас впервые повели в Русский музей. И жизнь моя перевернулась. Я ничего не могла понять. Застывала перед картинами, обходила по несколько раз скульптуры, украдкой гладила пальцем иконы. Наша учительница истории подгоняла меня: «Не отставай от группы, слушай экскурсовода». Мне было стыдно взглянуть ей в лицо. Хотелось сказать: «Не ты ли твердила нам про кровососов-помещиков и угнетателей-аристократов? А тут их портреты сияют красотой, окружены почетом. Не ты ли твердила, что Бога нет, а здесь вот он, Христос, – такой возвышенно-спокойный – спасает грешницу от злой толпы, воскрешает Лазаря, стоит перед Пилатом. Не ты ли молчала – да и все, все вы молчите про самое жгучее и главное, про ЭТО, а здесь вот сатир так жадно, так понятно-бесстыдно ласкает обнаженную нимфу. И Фрина сияет своей наготой на празднике Венеры!»

С тех пор я начала бегать в музеи чуть не каждый выходной. Мать одобряла мою страсть, не догадывалась – откуда она. Давала деньги на билеты, на открытки с репродукциями картин, на путеводители. В путеводителях были объяснения библейских сюжетов, из них я узнала все, что наши бабушки и дедушки учили на уроках Закона Божьего. Залы античного искусства в Эрмитаже размещались на первом этаже, и я проводила в них часы в полном одиночестве. Любовалась лакированными вазами, рассматривала оранжево-красных героев, скакавших по черному фону, стеклянные украшения древнеримских матрон, бюсты императоров и философов. Изредка вдали нарастал глухой гул, и через зал, под командой экскурсовода, проходил взвод солдат или моряков, пригнанных штурмовать бастионы культуры. Потом снова наступала блаженная тишина.

Я чувствовала себя Золушкой, попавшей во дворец, когда бал уже отшумел, но ничуть не огорчалась опозданием. Дворец был так прекрасен! Табличка под мраморной головкой Венеры сообщала, что она была создана две тысячи лет назад, и эти два тысячелетия были для меня туннелем вечности, в котором и мне было оставлено место. Древний скульптор легко перелетал через океан времени, опускался рядом со мной, и я знала, что всегда смогу убежать к нему от уличной слякоти, от магазинных очередей, от ведьмы-соседки, от школьной скуки. Не тогда ли, не с музейной ли страсти зародилась во мне сама смутная идея, крамольная мысль-вопрос: да так ли уж непроницаема граница, так ли крепки засовы? Если я способна убежать из своего времени, не смогу ли я когда-нибудь убежать и из своего пространства?

Много лет спустя мне довелось увидеть чудесный документальный фильм. Режиссер придумал простой ход: установил скрытую камеру рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Литта» и снимал лица посетителей, всматривавшихся в знаменитый шедевр. Среди них была

девочка лет двенадцати, чем-то напоминавшая меня. Голос экскурсовода плыл над звуками клавесина: «Взгляните на лицо Мадонны – оно прекрасно...» И я снова пережила это окрыляющее чувство освобождения от «здесь и сейчас». «Да, есть что-то вечное и прекрасное на свете, и я принадлежу ему, и никто-никто не сможет меня оторвать от него, даже смерть» – так думала – чувствовала – тогда я и то же чувство читала на лице девочки на экране.

Мне было четырнадцать, когда мать впервые разрешила отцу свидание со мной. Полу- часовая прогулка в соседнем палисаднике. Как в тюремном дворе. Сердце у меня колотилось отчаянно. Как мне хотелось понравиться ему! Какое платье надеть? Зеленое? Нет, подруга Валя уверяла, что зеленое отталкивает мужчин. Да-да, проводились специальные исследования. Лучше синее. С голубой косынкой.

– Мам, можно я возьму твой синий берет?

– Нет, он мне самой нужен.

– Ах так!.. Ну ладно же... Нарочно замерзну и простужусь.

Но при первом взгляде на отца, с первых его слов я поняла, что бояться мне нечего. Что он заранее обожает меня на всю жизнь. Что бы я ни надела, чем бы ни увлеклась, чего бы опасного ни натворила. У него уже была новая семья, двое детей. Но на семье и детях лежала неизбежная зола повседневности. Я же была потерянной – и возвращенной – овечкой, мечтой, манящим миражом. Мы шли рядышком по кирпичной дорожке, он расспрашивал о школе, о подругах, о всем рутинном и неважном. И вдруг в конце спросил, есть ли у меня кто-нибудь, кому я могу доверить важный секрет.

Я созналась, что нет.

И тогда он сказал, что, если бы у него был важный секрет, которым нужно было поделиться, он бы хотел доверить его мне. Потому что ему кажется, что у меня внутри спрятан небольшой, но очень прочный сейф для своих и чужих секретов.

Как он догадался? Неужели это было так заметно?

Мы стали встречаться – сначала раз в месяц, потом чаще. Длительность разрешенного свидания увеличивалась, но мы уже прихватывали добавочные часы без маминого разрешения. А в десятом классе я вообще перестала докладывать ей, куда я ухожу и с кем.

Отец был виден в толпе издали. Его серая шляпа плыла над головами, чуть выпученные глаза искали меня внизу, среди пигмеев, рвавшихся в метро, и, найдя, загорались охотничьим восторгом. Всегда с портфелем («Да, потом еще надо успеть в институт»), всегда с букетиком («Пап, ну куда я их дену?» – «А мы спрячем пока в портфель»), всегда бескорыстно жадный до любой мелкой ерунды, случившейся со мной за прошедшие недели.

Я просила его познакомить меня со сводными братьями, но он под разными предлогами откладывал, уклонялся. Его новая жена часто болела, и он не хотел тревожить ее своим прошлым. Он говорил, что ей бывает хорошо и спокойно только внутри раковины «здесь и сейчас». Любое дуновение из «раньше» или «потом», из «всегда», «везде» ранит ее и заставляет захлопывать створки.

Однажды я решила и спросила отца о далеком «раньше».

– Пап, а зачем ты сознался маме тогда? Промолчал бы – и жили бы мы одной семьей по-прежнему.

– Я сам об этом часто жалел, – сказал он, помолчав. – И думал: почему? Может быть, это происходит потому, что в каждом мужчине, даже самом мирном, живет инстинкт воина: таиться от врагов. И этот инстинкт сохраняет силу и в перевернутом виде: «Раз я таюсь, значит, передо мной враг». А как можно любить врага? Помнишь библейского Самсона? Ведь Далила трижды выпытывала у него тайну его силы. И трижды он благоразумно обманывал ее. Но не выдержал наконец, сознался. Потому что хотел любить ее, а не враждовать. И был ослеплен врагами.

Этот разговор врезался мне в память иглой печали. «Раз я должна вечно таиться от всех, значит, я никогда не смогу полюбить», – думала я.

И с этой печалью я так и жила, пока не встретила Додика. Или нет: еще до Додика была другая важная встреча – курсовая работа о Герцене. Я прочла гору книг и статей о нем. И постепенно бронзовый блеск славы тускнел и из-за бюста на библиотечной полке вырастал живой, измученный своими страстями и идеями человек. И конечно, я не могла удержаться – написала длинное и горькое письмо Александру Ивановичу.

ПИШУ ГЕРЦЕНУ

Дорогой и бесконечно уважаемый Александр Иванович!

Если бы мне выпало жить с Вами в одно время, я бы, наверное, писала Вам восторженные читательские письма, вкладывала в них засушенный лепесток розы, душила французскими духами, украшала вензелями с пробитым сердцем. Или, с несвойственной мне отчаянностью, ездила взад-вперед между Лондоном и Петербургом, тайно провозя в сундуке с двойным дном пачки «Колокола» в одну сторону и рукописи Ваших анонимных российских корреспондентов – в другую.

Но судьба разделила наши жизни доброй сотней лет. И сегодня мне хочется написать Вам совсем о другом. Догадываюсь, что мое письмо может огорчить Вас, и заранее прошу простить меня. Но речь идет о таких важных для меня вещах – я должна высказаться.

К лету 1852 года волна несчастий и потрясений, преследовавших Вас с отъезда из России, должна была затопить холодом, отчаянием, горем даже такое жизнерадостное сердце, как Ваше. Судя по всему, так и произошло. Гибель сына и матери в морской пучине, крах революционных надежд – столь дорогих Вам! – во всей Европе, смерть любимой жены и тягостная любовная распря, из которой Вам виделся порой единственный возможный выход: убить соперника, убить собственными руками. Однако даже этот выход из пещеры тоски был закрыт для Вас: ведь Вы поклялись умирающей жене отказаться от мести ради детей.

Обычно смерть одного из трех участников любовного треугольника приводит драму к концу. Но в Вашем случае распря продолжалась, постепенно переходя в фарс, в гротеск. Ваш соперник, немецкий поэт Гервег, засыпал Вас безумными письмами, в которых угрозы самоубийства перемежались вызовами на дуэль. Но поединок – дело чести. Вы защищаете свою честь и «даете удовлетворение» противнику. Ни в коем случае не хотели Вы признать Гервега человеком чести, дать ему удовлетворение. Гордость Ваша была уязвлена, душа измучена, и, может быть, поэтому Вы избрали такой странный способ возмездия – третейский суд.

На что Вы рассчитывали?

Ваши друзья, известные в Европе писатели и революционеры, которым Вы рассылали письма с призывом принять участие в третейском суде, были в растерянности. Они не понимали, чего Вы хотели от них. Ведь на суде принято выслушивать обе стороны. Вы же, на самом деле, требовали не суда, а *общественного трибунала*, утверждающего Ваш приговор: Георг Гервег – законченный подлец, лжец и развратник, которому нет места среди порядочных людей.

Конечно, из затей с третейским судом ничего не вышло. Но если бы такой суд состоялся, я бы хотела выступить на нем в качестве адвоката Гервега. Да, бесплатно и бескорыстно, только потому, что тяжба в этом деле вскипает вокруг конфликта необычайной важности – по крайней мере, для меня.

Я бы обратилась к суду с такой примерно речью:

– Господа присяжные и судьи! Прежде всего мы должны уяснить себе смысл обвинения, предъявленного моему подзащитному. В чем обвиняет его оскорбленный истец, господин Герцен? В том, что он, господин Гервег, влюбился в жену господина Герцена и та ответила ему взаимностью? Но такие истории происходят повседневно и повсеместно и ни в одной цивилизованной стране преступлением не считаются.

Господин Герцен прекрасно это знает, поэтому и хотел бы судить своего соперника не уголовным судом, а моральным. Ему представляется, что нравственный кодекс, исповедуемый им самим, всем хорошо известен и понятен, что сам он чист перед этим кодексом, а мой под-

защитный как раз и является его злостным нарушителем, а посему подлежит осуждению и наказанию полным изгнанием из мира людей чести.

Что же представляет собой этот кодекс?

Давайте представим себе, что господину Герцену удалось стать главным законодателем в Республике Порядочных Людей. И что его нравственный кодекс сделался основным законом этого государства. Тогда у вас не останется иного выхода, как судить моего подзащитного по новому закону. Все статьи и положения его, видимо, могут быть легко уяснены из писаний, речей и поступков законодателя Герцена. Раз он призывает судить моего подзащитного со всей строгостью, значит, себя он считает чистым перед новым законом. Мы знаем яркость его литературного таланта, знаем его стремление оставаться искренним и правдивым в выражении своих чувств. Наверное, нам не составит труда уяснить себе свод правил, выработанный им для подданных Государства Порядочных Людей.

В рассматриваемой коллизии клубок сплетается из противоборства трех чувств: чувства супружеского долга, чувства дружбы, чувства романтической любви.

Многие знаменитые писатели касались этой мучительной темы. У Гёте Вертер, влюбившись в жену друга, кончает самоубийством. Онегин не испытывает особой дружбы к мужу Татьяны, но Пушкин заставляет свою героиню отказаться от любви во имя супружеского долга. Да и у самого Герцена в повести «Кто виноват?» блистательный Бельтов, следуя примеру Онегина, вынужден уехать в дальние края, когда его возлюбленная выбирает верность чахлому и нелюбимому супругу. Заметим, что во всех трех произведениях сердца героев разбиты, надежды на счастье испаряются.

Однако это в литературе. А в реальной жизни?

Начнем с того, что и сам господин Герцен, и его супруга, Наталья Александровна, были внебрачными детьми. Их отцы были богатыми московскими барями, имевшими множество любовниц. Могли ли их дети всерьез воспринимать разговоры о «святости брачных уз»? Кроме того, Иван и Александр Яковлевы были родными братьями, так что Герцен фактически женился на кузине, что уже было нарушением правил, установленных православной церковью. Венчались они почти тайно, без благословения родителей.

Пылкое чувство к двоюродной сестре разгоралось постепенно, когда Герцен был выслан в далекую Вятку. Их переписка полна нежных признаний, страстных призывов, надежд на счастье впереди, мечтаний о нравственном самосовершенствовании. Параллельно господин Герцен заводит роман с женой местного чиновника, человека старого и больного. Вот как он описывает в книге «Былое и думы» свои чувства тех лет:

«Меня стало теснить присутствие старика, мне было с ним неловко, противно. Не то чтоб я чувствовал себя неправым перед граждански-церковным собственником женщины, которая его не могла любить и которую он любить был не в силах, но моя двойная роль казалась мне унижительной: лицемерие и двоедушие – два преступления, наиболее чуждые мне. Пока распахнувшаяся страсть брала верх, я не думал ни о чем; но когда она стала несколько холоднее, явилось раздумье».

Итак, мы видим, что по кодексу господина Герцена брак – пустая формальность и все должна решать любовь. Если она есть, союз двоих свят и нерушим, если любовь захирела, супруги получают право вступать в новые связи.

Упомянутая в этом отрывке ненависть к лицемерию – не пустые слова. Жажда быть искренним с любимым человеком доходит у господина Герцена до того, что он в какой-то момент пишет возлюбленной Натали о своем романе с чиновницей, к тому времени уже овдовевшей. И Натали не впадает в отчаяние, не осыпает его упреками ревности. Нет, она готова уйти в тень, готова даже принять жизнь втроем. Ответное ее письмо пронизано мыслями о том, как сохранить благородство и достоинство в возникшей ситуации.

«Ежели бы Медведева забыла тебя, была бы счастлива, тогда бы мы не должны были мучиться и томиться *пятном*... Но она несчастна, любит тебя и, может быть, надеется, что ты женишься на ней.

Я была бы *все та же, та же любовь, то же блаженство внутри*, а наружно – *кузина, любящая тебя без памяти*. Я бы жила с вами, я бы любила ее, была бы сестрою ее, другом, всю бы жизнь положила *за ее семейство*, внутри была бы *твоя Наташа*, снаружи – *все, что бы она желала*».

Герцен, женившись на Натали, не оставлял заботами Медведеву и ее детей, старался помочь им. Но это – лишь из чувства долга, по доброту души. Главная же жизнь текла там, где цвела любовь. Интенсивность душевных прикосновений у Герцена и Натали была так остра, что все остальные формы человеческих отношений порой казались им не столь важными – вторичными. Любовь и дружба – вот две святыни в Республике Герцена. Когда его, уже женатого, навещает любимый друг Николай Огарёв, тоже с молодой женой, их ликование переходит в настоящий экстаз. «Мы инстинктивно, все четверо, бросились перед распятием, и горячая молитва лилась из уст, – пишет Герцен в письме. – Это было венчание сочетающихся душ, венчание дружбы и симпатии».

Все это необходимо помнить, господа присяжные, когда мы начнем всматриваться в драму, разыгравшуюся позднее, уже в Европе, между двумя супружескими парами – Герценов и Гервегов.

Их встреча произошла в Париже, после отъезда Герцена с семьей из России. Гервег к тому времени имел ореол одного из ведущих немецких поэтов и смелого революционера. В 1844 году его удостоил аудиенции прусский король, который сказал ему: «Я уважаю и оппозицию, если в ней есть талант и искреннее убеждение». Весной 1848 года несколько отрядов немецких политических эмигрантов попытались перенести Французскую революцию на территорию Германии. Гервег с женой присоединился к одному из отрядов и чудом спасся после разгрома.

Его репутация была очень высока и среди русских. Огарёв познакомился с ним во время поездки по Европе, перевозносил его перед Герценом и дал ему рекомендательное письмо к нему. Тургенев в письмах из Парижа называет его своим другом. Бакунин был свидетелем на свадьбе Гервега в Цюрихе. Позднее он писал о нем: «Гервег – человек чистый, истинно благородный, с душой широкой, человек, ищущий истины, а не своей корысти и пользы». Да и сам Герцен начиная с лета 1848 года обращается с Гервегом как с ближайшим другом. А. К. Толстой переводил его стихи:

Хотел бы я угаснуть, как заря,
Как алые отливы небосклона;
Как зарево вечернее горя,
Я бы хотел излиться в Божье лоно.

Я бы хотел, как светлая звезда,
Зайти, блестя в негаснущем мерцании,
Я утонуть хотел бы без следа
Во глубине лазурного сияния.

Немецкий поэт и его жена Эмма постоянно бывают в гостях у Герцена, обе семьи часто путешествуют вместе. «Я в истинно дружеских отношениях только с Гервегом и больше ни с кем», – пишет Герцен Грановскому в конце 1849 года. «Гервегу посвящена брошюра „La Russie“, первое произведение, которым Герцен дебютировал перед заграничной публикой. В середине декабря оба они совершили экскурсию в Церматт, к подножию Монтерозы», – сооб-

щает летописец этой драмы П. Губер. А вот как описывает сам Герцен короткую встречу с Гервегом в Берне:

«Он бросился ко мне, как будто мы месяцы не виделись. Я ехал вечером в тот же день – он не отходил от меня ни на минуту, снова и снова повторял слова самой восторженной и страстной дружбы... Он проводил меня на почтовый двор, простился и, прислонясь к воротам, в которые выезжает почтовая карета, остался, утирая слезы».

Гервег солидарен с Герценом не только в революционных взглядах и страстях, не только в художественных вкусах, но и во взглядах на брак. «Это гнусное учреждение, – пишет он Герцену, объясняя свои размолвки с женой, – есть лучший способ потерять возможность любить даже существо наиболее благородное, наиболее преданное, наиболее великодушное в целом мире, такую прекрасную и великую натуру, как Эмма».

Конечно, есть сильное несходство в характерах двух друзей. Наблюдательная Натали Герцен так объясняла мужу эту разницу:

«У тебя есть отшибленный уголок, и к твоему характеру это очень идет; ты не понимаешь тоску по нежному вниманию матери, друга, сестры, которая так мучит Гервега. Я его понимаю, потому что сама это чувствую... Он – большой ребенок, а ты совершеннолетний, его можно бездельем разогорчить и сделать счастливым. Он умрет от холодного слова, его надобно щадить... зато какой бесконечной благодарностью он благодарит за малейшее внимание, за теплоту, за участие».

О том же пишет Герцену и сам Гервег: «Счастливы вы, имея всегда голову на том месте, где она должна быть. Что до меня, то я ее иногда теряю и тогда ничего не понимаю более. Внешняя анархия распространяется и на меня самого. Я жду, что и с вами когда-нибудь будет то же. Еще есть цепи, которых вы не чувствуете и которые вы пожелаете разбить тогда. *Милый, милый друг*, все, что я говорю здесь, быть может, очень глупо, но почувствуйте, по крайней мере, под этими неуклюжими выражениями тот же живой источник, из которого вы также любили утолять жажду».

В конце 1849 года Герцену было необходимо уехать в Париж по делам. Там он жил в квартире Эммы Гервег. Его жена и поэт оставались в Швейцарии. Видимо, в эти месяцы и произошло между ними то, в чем впоследствии Натали вынуждена была признаться мужу и про что он напишет: «Я хотел чашу выпить до дна и сделал ей несколько вопросов – она отвечала. Я чувствовал себя раздавленным; дикie порывы мести, ревности, оскорбленного самолюбия пьянили меня». Пока же между всеми четверьмя начинается напряженная переписка, исполненная упреков, мольб, призывов к пониманию и правдивости, обещаний великодушных жертв. Про письма Гервега к нему Герцен впоследствии напишет в своих воспоминаниях, что они «скорее были похожи на письма встревоженного любовника, чем на дружескую переписку. Он упрекает меня в холодности; он умоляет не покидать его; он не может жить без меня, без прежнего полного, безоблачного сочувствия; он проклинает недоразумения и вмешательство „безумной женщины“ (то есть Эммы); он жаждет начать новую жизнь, – жизнь вдали, жизнь с нами, – и снова называет меня отцом, братом, близнецом».

И действительно, господа присяжные, мне хотелось бы, чтобы вы внимательно вчитались в отрывки из этих писем поэта Гервега.

«Поступайте как сочтете лучшим и не слишком огорчайтесь жалобами, которые вырываются из моего растерзанного сердца. Я не смею заклинать вас вернуться к нашим первоначальным планам, хотя я все еще верю в возможность гармонии и красоты в наших отношениях, которые могли бы послужить образцом для всего мира; но, по-видимому, ваше чувство подсказывает вам противоположное. Вы забываете меня – и самих себя – в Париже!..»

«Мой дорогой Ландри, Натали едет завтра (в Париж, в начале 1850). С одной стороны, я слишком люблю вас, чтобы искренно не радоваться этому. Она могла бы принести вам то утешение, которое вы могли бы найти здесь, если бы хоть немного ценили вашего „покойного

близнеца". С другой стороны – стороны, конечно, левой, – это щемит мое сердце. Ваша жена была последним залогом осуществления наших возвышенных планов и образования того особенного мира, который теперь так жестоко рухнул...»

«Боже мой, жизнь моя кажется мне полной только с тех пор, как я встретил вас. И если я пишу вам, то иногда это имеет такой вид, как будто я пишу девушке, в которую влюблен. Я мщу за ненависть, которую питаю к человечеству вообще и в частности – к моим друзьям, мужчинам и женщинам, которых мучаю своей любовью. Мне оскорблять вас?! Мне так необходима любовь, во мне столько огня, что я могу поместить его на проценты...»

«Самые наши различия сближали нас, и мы задевали друг друга некоторым образом только для того, чтобы засверкали искры. Вспомним разговор, который мы вели, как настоящие близнецы, в постели в Лозанне! Слезы, которые я невольно причинил тогда твоей жене и которые она мне так великодушно простила, доставили мне случай заглянуть в твою душу так, как я не заглядывал еще ни в одну человеческую душу».

Как мы должны все это понимать, господа присяжные? «Первоначальные возвышенные планы, образование особенного мира, гармония отношений, которая могла бы послужить образцом для всего мира»? «Разговоры в постели» – кого с кем? И жена каким-то образом тут же и отзывается на происходящее слезами? Не проступает ли здесь одна из тех комбинаций, которые описаны в книгах Генри Миллера и Анаис Нин?

Распутать переплетения любовных струн, пронизавших этот квартет, было бы по силам разве что Шекспиру, Гёте, Ибсену, Стриндбергу. Но так или иначе, в начале 1850 года из эпистолярных потоков и водопадов проступает примерно такая картина:

Герцен любит свою жену, питает дружеские чувства к Гервегу, не исключает жизнь под одной крышей с Эммой.

В него влюблены все трое.

Наталья Александровна любит обоих мужчин, ее роман с Гервегом то разгорается, то утихает, дружит и советуется с Эммой.

Эмма боготворит своего мужа настолько, что не ревнует его ни к Александру, ни к Натали и всем готова пожертвовать для его счастья.

И вот в этой ситуации Герцен делает шаг, который его самого будет впоследствии приводить в недоумение и растерянность. Высланный из Парижа весной 1850 года, он едет в Ниццу, снимает там большой дом и поселяется в нем со своей семьей *и с семейством Гервегов!* Платит за все он, потому что отец Эммы – главный поставщик денежных средств – к тому времени разорился и она вынуждена изворачиваться изо всех сил, чтобы обожаемый муж не заметил подступающей нищеты.

Господа присяжные! В каком обмане, в какой нечестности может господин Герцен упрекать моего подзащитного? Разве мой подзащитный обманом проник в дом Герцена, в его семью? Герцен радушно приглашает Гервегов жить в его доме – разве не могли, не должны они были истолковать этот поступок как согласие на осуществление давно витавших в воздухе планов жизни вчетвером?

Сам Герцен даже много лет спустя не может дать вразумительного объяснения своих мотивов и действий.

«Зачем же я-то с Натали именно ехал в тот же город? Вопрос этот приходил мне в голову и другим, но, в сущности, он мелок. Не говоря о том, что куда бы я ни поехал, Гервег мог также ехать, но неужели можно было что-нибудь сделать, кроме оскорбления, географическими и другими внешними мерами?»

Помилуйте – при чем здесь география? Одно дело – оказаться в том же самом городе. Другое дело – поселить у себя в доме чужую семью. Я не исключаю даже, что господином Герценом двигала этакая бравада: «Вот как я не боюсь соперника – пускаю его жить под одной крышей со мной и с моей женой!»

Отчего же не сложилась жизнь в Ницце, что привело к распаду квартета?

Как уже было сказано, без помощи кого-нибудь из великих драматургов мы не сумеем распутать до конца этот клубок. Но теперь уже старыми классиками нам не обойтись. Тут закручено так, что надо звать на помощь Теннесси Уильямса, Ингмара Бергмана, Эдварда Олби. По крайней мере, сам Герцен так описывает ситуацию в доме:

«Недели через две-три после своего приезда Гервег принял вид Вертера в последней степени отчаяния... Жена его являлась с заплаканными глазами – он с нею обращался возмутительно. Она приходила часы целые плакать в комнату Натали, и обе были уверены, что он не нынче-завтра бросится в море или застрелится. Бледные щеки, взволнованный вид Натали и снова овладевавший ею тревожный недосуг, даже в отношении к детям, показал мне ясно, что делается внутри... Все быстро неслось к развязке».

Не исключено, что бурное воображение Гервега создало в его голове иллюзию, будто Герцен готов уступить его любовным домогательствам. Увидев же полное равнодушие, а скорее всего – даже отвращение Герцена к однополю любви, впал в отчаяние. Возможно, не имея других средств воздействовать на Герцена, Гервег пытался как-то вовлечь Наталью Александровну, играл на ее чувстве любви и сострадания к нему. Атмосфера в доме нагнеталась, делалась невыносимой.

В конце концов, через полгода совместной жизни, Герцен потребовал, чтобы Гервеги покинули его дом.

Эмма сделала последнюю попытку. Она явилась к Герцену и умоляла его переменить свое решение. «Нежная организация Гервега не вынесет ни разлуки с ней, ни разрыва с вами... – говорила она. – Он плачет о горе, которое он нанес вам».

Герцен был непреклонен, и тогда она заявила, что он больше не тот в ее глазах, кого она «так уважала, считала лучшим другом Георга».

– Нет, если бы вы были тот человек, вы расстались бы с Натали – пусть она едет, пусть он едет – я осталась бы с вами и с детьми здесь».

Герцен только расхохотался в ответ.

Разрыв казался окончательным, но облегчения он никому не принес.

Гервег писал страстные письма Герцену – тот возвращал их не читая. Тогда отвергнутый поэт стал писать Наталье Александровне. Теперь он уже грозил не только самоубийством. Он обещал зарезать собственных детей и в их крови явиться к Герцену. Но вдруг менял тон, умолял помирить его с Герценом, даже взять в гувернеры к детям.

Да, господа присяжные, после разрыва мой подзащитный совершил много поступков, не имеющих оправдания. Но это была уже слепая ярость отвергнутого и – как он считал – обманутого влюбленного. Он рассказывал всем знакомым о происшедшем, причем объяснял дело таким образом, будто жестокий Герцен угрозами держит при себе жену, не отпускает к любимому, то есть к нему.

Герцен некоторое время воображал, что их семейная драма укрыта тайной от посторонних, что все участники ее поведут себя по исповедуемому им Кодексу Порядочных Людей. Он пришел в ужас, когда знакомый русский эмигрант спросил, почему он не дает своей жене ту свободу, к которой призывал в своих статьях и книгах. Герцен пишет отчаянное письмо своей Натали:

«28 июня, 1851. Женева. Кафе.

Что со мною и как, суди сама.

Он все рассказал Сазонову. Такие подробности, что я без дыхания только слушал. Он сказал, что „ему жаль меня, но что дело сделано, что ты упросила молчать, что ты через несколько месяцев, *когда я буду покойнее*, оставишь меня...”

Друг мой! Я не прибавлю ни слова. Сазонов меня спросил, что это, будто ты больна. Я был мертвый, пока он говорил. Я требую от тебя ответа на последнее. Это все превзошло самые смелые мечты. Сазонов решительно все знает... Я требую правды... Сейчас отвечай; каждое слово я взвешу. Грудь ломится... И ты называешь это связным развитием!

Еду завтра в Фрейбург. Так глубоко я еще не падал. Письмо ко мне в ответ на это адресуй в Турин.

Неужели это о тебе говорят? О, Боже, Боже, как много мне страданий за мою любовь... Что же еще... Ответ, ответ в Турин!»

Письмо подействовало – Натали примчалась к мужу в Турин, и они пережили то, что Герцен впоследствии называл «вторым венчанием». Девять месяцев спустя оно было «увенчано» рождением их последнего ребенка. Однако, похоже, эти летние месяцы 1851 года были последним светлым пятном в жизни Герцена. Дальше несчастья сыплются на него, как на короля Лира. В ноябре его мать и сын гибнут в кораблекрушении. Весной 1852 года, вскоре после рождения ребенка, умирает Натали. И все это происходит под аккомпанемент отчаянных воплей, испускаемых моим подзащитным.

Но теперь это уже только вопли злобы.

Оказалось, что Гервег умеет ненавидеть так же сильно, как любить. Клевета в письмах и разговорах, нелепые обвинения и оскорбления, два вызова на дуэль. Злобная радость по поводу гибели сына и матери Герцена. Обнародование в печати интимных подробностей драмы.

Да, Гервег не покончил с собой, как Вертер (хотя в какой-то момент они с Эммой затеяли уморить себя голодом), не уехал в дальние края, как Онегин или Бельтов. Он ведет себя как обуянная яростью, брошенная – выброшенная из дома! – возлюбленная. Угроза зарезать собственных детей – чем не Медея?! Он бежит из-под нашего суда, превращаясь в персонаж трагедии – и я снимаю адвокатскую мантию, не берусь дальше защищать его, потому что в трагедии важен лишь тот суд, который герой вершит над собой. Но его обвинитель пытается остаться на своем прокурорском месте, он призывает именно к судебной расправе над своим врагом – и ему мне есть что возразить.

Господин Герцен, дорогой – измученный – одинокий Александр Иванович!

Не согласитесь ли Вы рассказать суду о том, что произошло с Вами четыре года спустя после смерти Вашей жены? Как приехал к Вам в Лондон любимый друг Огарёв со своей новой женой, с какой радостью Вы приютили их – обнищавших, бесправных беглецов – в своем доме? Вот кому Вы могли излить свое сердце, вот кто готов был слушать ночи напролет о пережитых Вами горестях, оскорблениях, изменах друзей, клевете врагов.

И конечно, с особым вниманием слушала Вас жена Огарёва, Наталья Алексеевна, урожденная Тучкова. Ведь она не просто была знакома с покойной Натали. Когда они встретились в 1848 году, между ними загорелась такая нежная дружба, которая возможна только между близкими натурами. Натали писала юной, тогда еще незамужней, Тучковой проникновенные письма, называла ее своей Консуэллой. (Жорж Занд царила в те годы в сердцах читательниц романов.)

«Встреча с тобой внесла столько прекрасного в мою душу, сделала меня настолько лучше... Да, да, не смейся этому, я не в припадке делать комплименты, а если это и припадок, так он так долго продолжается, что я признаю его за нормальное состояние, и так я повторяю тысячу раз, что твое явление, чувство, возбужденное тобой во мне, дало мне много наслаждения; часто, среди самого смутного состояния, тяжелого – воспоминание о тебе успокаивает, возвращает силы, и я с новой энергией принимаюсь жить...»

(Кстати, уже из этих писем видно, насколько Ваша жена жаждала любви и нежности в те годы, как была обделена ею, пока Вы барахтались в океане Французской революции. Немудрено, что сердце ее рванулось навстречу Гервегу!)

Нормы и правила церковного брака значили для обеих Наташ очень мало. Как и Натали, Тучкова впоследствии убежала к возлюбленному без разрешения родителей. Хуже того: Огарёв в то время был женат, жена его с любовником проживала в Париже огарёвские деньги, развода не давала, так что официальный брак был невозможен.

Легко себе представить, дорогой Александр Иванович, какое впечатление должна была произвести на вас – измученного одиночеством вдовца – поселившаяся рядом молодая, очаровательная женщина, многими чертами напоминавшая, наверно, покойную жену. Легко представить, что очень скоро между вами запылал роман. Наталья Алексеевна сразу созналась мужу, тот благородно готов был уйти в тень и просил лишь год отсрочки, чтобы влюбленные могли проверить силу и подлинность своего чувства. Увы, отсрочка была невозможна, потому что уже в следующем году родилось первое дитя этой любви, дочка Лиза, а еще несколько лет спустя – близнецы, *Леля-boy* и *Леля-girl*.

Союз с Гервегами продержался недолго. Союз с Огарёвыми обещал, казалось, счастье всем троим. Жили вместе, в одной квартире, со страстью работали над выпуском «Колокола» и «Полярной звезды». Дети Тучковой называли Вас дядей, а папой – Огарёва. В качестве утешения Огарёв нашел в лондонских низах себе подругу, с незаконным сыном, буквально подбрал ее в кабачке и принялся «спасать», исправлять, «выводить на светлый путь». Поддавалась она плохо, профессора Хиггинса из Огарёва не получилось. Но Вы и здесь оставались моралистом и постоянно напоминали Тучковой вашу с ней общую вину, говорили, что это ваш союз «толкнул Огарёва пасть столь низко».

Так или иначе, ваша совместная жизнь продолжалась ни много ни мало – восемь лет. Судя по всему, характер Огарёвой-Тучковой оказался нелегким. Вы писали о ней в одном из писем бывшему в отъезде Огарёву:

«От диких порывов любви, до свирепых слов ненависти – все сумбур. Сегодня ужас и желание, чтобы я спас ее и Лизу (видимо, легализовав отношения. – С. Д.), готовность звать детей, ехать в Кольмар, Лозанну... а завтра неуважение ко мне, наискорейшие сборы в Россию, распоряжение, как быть с Лизой в случае смерти, и обвинение во всем меня, тебя. Я не отвечаю, говоря, что и это принимаю за такое же невольное, патологическое состояние, как твои обмороки., только, что ты падаешь телом, а она – умом. Через час – слезы и оттепель...»

Признаюсь откровенно, что я в Ниццу еду как на казнь. Ни одной записочки, ни одного слова без яда... Внутри и страх, и боль, и злоба. Я за полгода тихой жизни, одинокой, отдал бы пять лет...»

Огарёва-Тучкова и сама сознается в своих воспоминаниях, написанных уже после Вашей смерти, что обдумывать и контролировать свои поступки было не в ее характере. «Я не глупа, а между тем я никогда не обдумывала своих поступков, даже самых важных; напротив, чем серьезнее, важнее были мои решения, тем менее я их обдумывала – я подчинялась своему чувству, а не разуму, мне казалось, что действовать по разуму, обдумывать – холодно, бессердечно».

Видимо, она была одной из тех страстных натур, которые умеют любить, но могут измучить своей любовью сильнее, чем враждой. Никто из Ваших детей от первого брака не полюбил ее, постоянные ссоры и взаимная неприязнь привели к тому, что она, в конце концов, уехала из Лондона. Но и ее трудно винить. Правда, что Ваша четырнадцатилетняя дочь Ольга однажды нарочно наступила каблуком на лицо одному из близнецов, игравших на полу? И что, играя со своей собакой, она незаметно зажала в руке иглу, на которую собака наткнулась языком? Мне трудно поверить, что Тучкова выдумала эти эпизоды лишь для украшения своих воспоминаний.

Ваши близнецы прожили всего три года и умерли в Париже от дифтерита. Мать потом винила себя, писала о каких-то своих ошибках, мечтала умереть. Но, постоянно думая и говоря о смерти, она пережила всех близких и умерла, когда ей было 84 года.

Однако согласитесь, Александр Иванович, что, кроме тяжелого характера, были у нее и другие причины ощущать себя несчастной. Ведь Вы отказывались легализовать Ваш брак с ней, говорили, что это «внешнее», ненужное. А каково ей было нести двусмысленную роль, на которую Вы ее обрекли? Каково было расти дочке Лизе, нося фамилию Огарёва и зная, что на самом деле ее отец – Вы?

Понимаю, что Вами мог двигать простой страх утраты состояния. Ведь у Вас перед глазами был живой пример – первая жена Огарёва не только бросила его, но также ухитрилась разорить судебными процессами. Дать права законной жены такой непредсказуемой женщине, как мадам Огарёва-2, означало бы поставить под удар не только свою судьбу, но и судьбу своих детей от первого брака.

И все же, и все же...

Когда я всматриваюсь в историю Вашей семейной жизни, дорогой Александр Иванович, мне начинает порой казаться, что Вы подчиняли ее вовсе не тому расплывчатому Кодексу Порядочных Людей, о котором речь шла в начале этого письма, а чему-то другому. Это покажется смешно и нелепо, но мне сдается, что Вы подсознательно проводили некий эксперимент, пытаясь подчинить отношения с обеими женами дорогим Вам лозунгам Французской революции. «Либерте, эгалите, фратерните потерпели поражение во всей Европе – так вот я же хотя бы в стенах своего дома дам им возможность утвердиться и принести всем долгожданное счастье».

Но помилуйте – какое же тут Эгалите, когда у Вас – пятьсот тысяч капитала (злой Нечаев даже обзывал Вас за это «тунеядцем»), а у Гервега и Огарёва – одни долги? Почему знать: были бы у Гервега деньги, может быть, он и переманил бы от Вас Наталью Александровну, увез с собой. Сумел бы Огарёв сберечь хоть часть состояния, так поселился бы с женой в Лондоне отдельно, и не ушла бы она от него в постель к лучшему другу.

А Либерте? Конечно, свободная любовь свободной женщины слаще простого исполнения супружеских обязанностей. Ваш страх сделаться семейным тираном понятен и благороден. И в пору сердечной бури и смуты Вы продолжаете говорить своей Натали: «Решай сама, ты свободна выбирать – я или он. Только не мучай меня неизвестностью».

Но спросили Вы ее, нужна ли ей эта душу разрывающая свобода в такой момент? Да, она любит обоих – Вас и Гервега. За Вас – вся прожитая жизнь, в которой было столько счастья, дети, общие и дорогие воспоминания, друзья. За Гервега – сродство душ (которое Вы сами так любили восхвалять), порывистость, поэтичность, его нужда в поддержке и участии и дикий страх, что – отвергнутый – он покончит с собой. Спросите меня: хотела бы я такой свободы выбора? Да будь она проклята – ни за что! Я хотела бы, чтобы кто-то один – раз уж нельзя иметь обоих – схватил меня за руки, швырнул поперек седла, умчал и взял бы на себя ответственность за то, что произойдет дальше.

Но это – не для Вас. Вы все мечтаете, что бурление человеческих страстей можно залить ворванью Фратерните. А когда Ваше сердечное побратимство с Гервегом оборачивается долгим и мучительным кошмаром, Вы с яростью обрушиваете все обвинения на соперника – но только не на дорогой Вашему сердцу лозунг. (Ирония судьбы, проделки алфавита: в 30-томной *Encyclopaedia Britannica* Ваши с Гервегом портреты и жизнеописания оказались на одной странице.)

«Внутри и страх, и боль, и злоба» – и это Вы могли бы сказать, наверное, про любой год из последних двадцати лет Вашей жизни. Иногда мне приходит в голову кошунственная мысль: а не послала ли Вам судьба эти мучения как предуведомление, как пророческий отблеск того кошмара, который начался в России после победы *Liberie, Egalite, Fraternite*? Не как наказание – но как иллюстрацию того, что приходит в жизнь людей, когда из нее удаляют ключевые – порой мучительные, но такие необходимые – разграничения: «мое – твоё», «повелеваю – подчиняюсь», «родные – чужие», «можно – нельзя».

Ах, только бы не сделаться тираном для близких, только бы не наказывать и не приказывать, только бы не опуститься до роли «гражданско-церковного собственника», врага всех либерте. И вот дочь Ольга, которую Вы всегда выгораживали и защищали, вырастает коварной истеричкой. Дочь Лиза при первой возможности удирает из дому, очертя голову кидается в роман с пожилым женатым человеком, кончает с собой. Обе жены истерзаны двусмысленностью своего положения, обе живут на грани нервного истощения. Вы состраждете им всем, ищите виноватых. И виноватыми оказываются предрассудки толпы, нехороший Гервег, политические реакционеры, буржуи, даже Вы сами – но только не *Liberie, Egalite, Fraternite*.

Через пятьдесят лет после Вашей смерти Ваши любимые лозунги победили, скверы и площади украсились Вашими бюстами, собрания Ваших сочинений заполнили библиотечные стеллажи. Но, проходя по бывшей Морской, которой было присвоено Ваше имя, я невольно вспоминаю слова жившего здесь когда-то писателя – впоследствии такого же изгнанника, как и Вы: «И как могло случиться, что свет, к которому всегда стремилась русская интеллигенция, оказался светом в окошке тюремного надзирателя?»

Лозунги отмирают – остается лишь боль сердца. И странный, неожиданный отклик на Вашу боль нашла я недавно у другого изгнанника – не из страны, но из мира. Франц Кафка в своем дневнике записал: «Прочитал несколько страниц из „Лондонских туманов" Герцена. Не понимал даже, о чем речь, и тем не менее передо мной полностью возник образ человека – решительного, истязającego самого себя, овладевающего собой и снова падающего духом».

4. ДОДИК

Первый раз я его увидела в институтском буфете. Он стоял в очереди и читал книгу с формулами. Книга была большая, ему приходилось двигаться боком, а то бы обложка легла на голову стоявшего впереди. У него было Лицо коварного иностранца из кино. Если бы такое лицо появилось на экране, зрители сразу поняли бы: вот он – шпион, диверсант, отравитель рек, поджигатель заводов. Позже Додик рассказывал мне, что милиционеры часто останавливают его на улице и спрашивают: «Шпрехен зи дойч?» Ему приходится постоянно носить с собой паспорт и аспирантский билет.

Я стояла в очереди и подсчитывала, хватит ли у меня денег на бутерброд с сыром. Может быть, отказаться от супа? Или от котлеты? Бутерброд с сыром был лакомством, которое я могла позволить себе не каждый день. Диверсант с книгой уже стоял перед буфетчицей, тетей Зиной, и пальцем показывал сквозь стекло витрины. Она недоверчиво переспросила – он кивнул. Она удивленно поиграла бровями, но послушно полезла внутрь и – я не поверила своим глазам! – достала *всю* тарелку с бутербродами. Да-да – с сыром! Их было там десять или пятнадцать штук. Этот иностранный агент был заслан, чтобы отравить мне чудесный сентябрьский день. И денег у него полные карманы – видимо, за их шпионские дела платят неплохо. Не оставил ни одного! Могла ли я не запомнить его после такого?

В следующий раз я оказалась в очереди впереди него. И, как ворона из басни, успела ухватить свой сыр. С торжеством унесла поднос на пустой столик в дальнем углу. Он опять забрал все, что оставалось, всю тарелку, прихватил еще стакан компота и, держа книгу под мышкой, направился в мою сторону. Сел, не спросив, за стол. Опер книгу о банку с горчицей. И принялся поглощать страницу за страницей, бутерброд за бутербродом. Он нащупывал их не глядя, откусывал, запивал компотом. Бегал глазами по формулам, перелистывал назад, заглядывал в оглавление. Вскоре рука его уже растерянно шарилась по пустой тарелке. Но математические комбинации, похоже, были так увлекательны – он не мог оторвать от них глаз. Рука несколько раз возвращалась, принималась шарить впустую.

Мне стало смешно. И немного жалко этого рассеянного сыроеда. Он был похож на младенца, пытающегося нащупать бутылочку с молоком. И я инстинктивно и бездумно сделала нелепый материнский жест: подложила ему свой бутерброд. Он ухватил его, поднес ко рту, надкусил...

Только тут до него дошла несуразность случившегося. Тарелка ведь была пуста? Откуда же?..

Он оторвал глаза от книги. Посмотрел на мою руку. Потом на меня. Все понял. И сказал растерянно:

– Рука дающего не оскудеет... Но какой позор! Я пойду и сейчас же куплю вам другой.

Да, голос. С Додиком это был голос. С легким кавказским – нет, не акцентом, но с шелестом лавровых листьев, чайных кустов, виноградной лозы.

– Вы не можете ничего купить, – сказала я. – Сами ведь забрали сразу всю тарелку. Забыли?

– Это всё гены моих предков, – сказал он. – Они веками питались в своих горах хлебом и сыром. Я не виноват. Наследственность неодолима.

Какие горы? Да, Кавказ, но не тот, куда все ездят в отпуск, не черноморский, а тот, который ближе к Каспийскому морю. Нет, не грузины, не армяне, не азербайджанцы. Вы, наверное, и не слыхали про такой народ: таты. Нас всего тысяч двадцать, да и то сильно разбросаны. Язык? Считается, что корни уходят в древнеиранский, но современного персидского я не понимаю. Алфавит русский. Правда, я в горах прожил только до десяти лет. Помню наших овец, речку Самур – холоднющая! – и как меня бабка пугала, чтобы я не купался один, а то

унесет в Каспийское море. А потом учитель открыл у меня математические способности и уговорил родителей послать в специальную школу в Баку...

Как-то незаметно мы оказываемся на улице, идем по набережной Мойки. Последние прогулочные шлюпки качаются на осенней волне, раздвигают носами желтые листья, машут нам мокрыми веслами. Мой сквознячок в горле набирает силу, но как-то непривычно – без паники. Почему-то мне кажется, что вот – впервые – я могу не спешить. Что под ногами не ускользающие бревнышки, а прочный, надежный мост. Что этот человек не скажет и не сделает ничего такого, что могло бы порвать возникающую между нами дугу. Что моя заветная свечка загорелась и будет гореть долго-долго. Что запаса воска в ней – хоть до конца жизни.

Мы сворачиваем на Невский, доходим до Казанского собора. Он рассказывает, как их на первом курсе водили туда в Музей истории религии и как ему после этого несколько ночей снились орудия пыток инквизиции. Воронка для вливания в горло кипятка – вот ужас! Попробуй тут не сознаться, не перейти в правильную веру. А если без пыток, то люди сохраняют веру отцов. Даже в их маленьком народе есть христиане, есть мусульмане, но больше всего иудеистов. Да, и его семья тоже. Он назван в честь царя Давида. Суровый, кстати, был правитель, жалости не знал. Хочется верить, что все свои чудные псалмы он написал еще в юности, до того как стал полновластным тираном.

Прощаясь, он спрашивает, что я делаю завтра. Но тут же хлопает себя по лбу: завтра у него волейбол! Ответственный матч с Горным институтом. А не хотите посмотреть? Приходите. И потом пойдем опять погуляем.

День, ночь, утро, две лекции, семинар – все пролетает как во сне. И вот я в спортзале, на скамьях для болельщиков. Не так уж много есть видов спорта, которые я соглашусь смотреть. Бокс не выношу. Любоваться рассеченными губами, подбитыми скулами, вымазанными кровью и потом, – нет уж, увольте. Когда хоккеист со стуком врывается в деревянный барьер, у меня от сострадания перехватывает дыхание. Каждый удар футбольной бутсы по чужой ноге отзывается болью в селезенке. Если по телевизору показывают автомобильные гонки, я кричу маме: «Выключи немедленно!» Еще недоставало мне увидеть, как они врежутся друг в друга, или загорятся, или вылетят, кувыркаясь, за бетонный барьер.

Другое дело, например, теннис. Или пинг-понг. Или волейбол. Соперники разделены сеткой – вот это прекрасно! В этом есть что-то от рыцарского турнира, от старинной дуэли со строгими правилами. К барьеру! Но никакого рукоприкладства.

Наша команда в синих майках, горняки – в красных. Шестерка справа, шестерка слева. Сгрудились, как заговорщики, шепчут последние советы, пароли, условные знаки. Разбежались по местам. Свисток. Подача. Мяч сильно летит от красных к синим. У самого пола, в падении, Додик принимает его, посылает свечкой наверх. Вторым касанием, я знаю, другой игрок «навесит» мяч над сеткой для ответного удара.

Но кому?

Трое синих бегут на сетку, каждый делает вид, будто бить будет он.

Красные не знают, кого блокировать, мечутся на своей половине. Мне жалко, что Додик упал, принимая подачу, пожертвовал собой.

Синие один за другим подлетают над сеткой, взмахивают впустую рукой.

«Навешивающий» все медлит, будто выбирая между ними. И вдруг посылает мяч в дальний конец, к самому столбу.

Но там же никого нет!

Мяч висит секунду в пустоте, потом в недоумении начинает падать.

И тут!.. Откуда? Когда он успел вскочить? добежать?

Додик вылетает рядом со столбом, как синяя ракета, – замах его руки почти не виден, неуловим, слышен только звонкий удар, – и трое или четверо красных валяются на пол в безнадежной попытке достать из дальнего угла убийственный мяч.

Восторг раздувает мне сердце. О, Додик! О, мой царь Давид! О, кавказский витязь, возвращенный на сыре и хлебе и ключевой холодной воде! И слово «мяч» так близко к слову «меч». Так их! Круши! Справа налево! Косым и прямым!

Красные уже понимают, *кто* их главный противник. Они следят только за ним, не дают остальным обмануть, отвлечь на себя. Вот они высмотрели, угадали момент, выпрыгнули вдвоем, втроем. Над сеткой – забор из рук. Не пробить, не обойти.

А Додик?

Он вместо удара берет и кончиками пальцев бережно подталкивает мяч. Так, чтобы тот только-только перевалил через защитный забор и шлепнулся на паркет за красными спинами, у самой сетки. Свисток, очко засчитано, счет растет!

На скамьях болельщиков – вопли восторга, смех, аплодисменты. У меня к концу матча ладони болят так, словно я сама все это время лупила ими по мячу. Победа, победа! – сладок твой сок.

Потом мы сидим в кафе, в знаменитом «Лягушатнике» на Невском проспекте. Неоновые радуги за окном отсвечивают на полированных столиках, на зеленом плюше сидений, дробятся в стекле бокалов. Я была здесь раньше только один раз, ушла без гроша в кармане. А мой царь Давид? Мало того что высок, прекрасен, ловок, силен, талантлив – он еще и богат! Откуда?

– Урюк, – объясняет он с усмешкой. – У родителей, кроме овец, двадцать абрикосовых деревьев. Каждое дает несколько мешков в год. Брат мой учиться не хочет, возит сушеные абрикосы и в Москву, и в Прибалтику, и сюда, продает на базаре.

– А разве это разрешено? Ведь могут арестовать за спекуляцию.

– В России это называется спекулянт, а у нас до сих пор по-старинному: купец. Конечно, нужно знать, кому из начальства следует заплатить и сколько, кого одарить и чем. В конце концов, сухофрукты всем нужны. Говорят, в урюке много витамина А и железа. Милиционерам тоже полезно. Брата до сих пор не обижали.

Наш роман распускается медленно, как цветок абрикоса. До первого поцелуя прошел месяц. Легенду о безудержно страстных кавказцах Додик разрушил небрежно и даже рассеянно. Правда, для нежностей у нас оставались все те же холодные парадные, скамейки в парке, темные кинозалы. Мать в том году повысили в должности, и она больше не работала в вечерние смены. У Додика была комната, которую он снимал у дальней родственницы своего отца, но туда он приводить меня стеснялся.

Я наслаждалась этой неспешностью, такой непривычной для меня. Упивалась каждым его звонком, каждой поздравительной открыткой, каждым букетиком цветов. Дождалась! И плюс ко всему купалась в волнах надежды.

А вдруг я – нормальная?

Вдруг все прежнее было просто судорожным поиском, а теперь и мне досталось обещанное книгами и романсами: ОН, единственный, когда никто-никто другой не нужен? Но тогда почему же я не схожу с ума, если он три дня подряд не звонит? Почему не дрожу от страха, что он вдруг отвернется, остынет, увлечется другой? Конечно, у него – как и у моей матери – было свое независимое Математическое королевство, куда он мог исчезнуть в любой момент, даже сидя бок о бок со мной в троллейбусе. Но разве мало я знала энергичных сверстниц, которые сумели бы расставить свои капканы именно на выходах из его волшебного-отвлеченного мира?

Потом начались наши походы в театры.

Богатый Додик покупал нам билеты чуть не каждую неделю. Причем обязательно в ложу. Если спектакль нам не нравился, мы тихо покидали свои места и оказывались в полумраке миниатюрной прихожей, с зеркалом и плюшевым диванчиком. И что тут начиналось! Длинные пальцы волейболиста, казалось, умели проникнуть – добраться – всюду, куда хотели, не снимая с меня одежды. Я взлетала, как мяч над сеткой, а потом падала в блаженную бездну. Только

шум аплодисментов в зале давал нам знак, что пора прерваться, привести себя в порядок и бежать в туалет – смыть холодной водой жар со щек.

Однажды, уже весной, наше прощальное объятие в моем парадном затянулось. Он держался как-то неловко, боком, и я даже подумала, не расшибся ли он на последнем матче. Вдруг он стал вырываться, пятиться от меня, отворачивать лицо. Тогда я догадалась, притянула его обратно. Просунула ладонь между нашими животами, скользнула ниже. «Сок продолжения жизни остановить нельзя», – со вздохом говорила одна подруга, мастер житейских сентенций. И тогда я – именно я! – наглая нарушительница правил, чудовище нескромности, забыв гордость и стыд, прошептала в уроненную на мое плечо голову:

– А не пора ли нам?..

Мы все же дождались конца весенней сессии и поженились, только сдав последний экзамен. Такие вот послушные ученики, студенты с доски почета, отличники боевой и эротической подготовки.

5. СЫН

Любить себя – грешно. Непохвально. Называется себялюбие. Эгоизм. Но вот внутри тебя зарождается ребенок. Он – часть тебя. Он – это ты. Он – это ты, которую можно, разрешено любить. Упоительное чувство.

И все, что ты делаешь для себя, все мандарины, кефиры, ягоды, салат, огурцы, мед, – уже не просто твое обжорство и чревоугодие. О нет! Все это уже – для ребенка, ему на пользу, доброе дело, чуть ли не жертва. И в своей кооперативной квартирке, купленной на абрикосовые деньги, можешь вылизывать каждую полочку, украшать занавесками, увешивать стены фотографиями, обзаводиться дефицитной стиральной машиной – никто не осудит, даже не усмехнется.

А отношения с родной мамочкой! Куда подевались – исчезли – все замечания, попреки, наставления, презрительные усмешки? Только забота, только улыбки, только осторожные расспросы о самочувствии. Советы – если только сама спрошу, в гости – только с разрешения, к Додиду – полное почтение, хотя выяснилось, что он и половины не прочел нужных книг.

Рожала легко, не боялась. Нет, книжку не читала, но тоже ухитрилась огорчить акушерку. Вдруг услышала ее возмущенный голос: «Эй, посмотрите на нее!

Да она ведь спит! Устроила себе тихий час. Ну-ка, просыпайся! Тут ведь не детский садик – роддом. Тут делом надо заниматься!»

Марик плакал, жмурил глазки, явно хотел обратно. «Чего я тут у вас не видел!» Но сосок нашел быстро, впился с хрюканьем. «Ага, это другое дело. Вроде ничего, вроде с вами можно водить компанию».

Говорить начал поздно, в два года. Но зато уж с такой страстью и убежденностью придумывал новые слова, что я, по примеру того же Корнея Чуковского, стала записывать за ним.

– Мама, почему люди вырождаются? Я, изумленно:

– Ну, не все ведь.

– А я?

– Нет, ты не выродился.

– Выродился, выродился!.. – Со слезами: – Мне няня сказала. Я выродился из тебя.

Суффикс «-ец» казался ему универсальной лингвистической отмычкой. Тот, кто кует железо, – кузнец. Кто идет в бой – боец. Кто поет песни – певец. Значит, и спортсмен, бегущий по дорожке, должен быть «беглец». А тот, кто курит, – наверняка «куреец». А красящий потолок – вовсе не какой-то дурацкий «маляр», а, конечно же, «красавец».

Жили на даче, я пошла в лес за грибами. Заблудилась, вернулась домой почти в темноте. Все волновались, ходили меня искать, аukaлись. Были счастливы, что нашлась. А трехлетний Марик сказал с укором:

– Какая ты заблудница.

Прозвище прицепилось ко мне, Додик до сих пор им пользуется иногда.

Все, что с Мариком происходит, он тут же переделывает в сказку:

– И вот повела мама этого мальчика погулять. И подходят они к лифту. А лифт тот был волшебный. Если скажешь волшебное слово, он поедет, а не скажешь – застрянет. Но мальчик знал волшебное слово. Он сказал «ах ты, вертихвостка» – и лифт сразу поехал.

Мы гуляем в садике. Появляется незнакомая девочка с няней. На ней белый берет и голубое пальтишко. Марик бубнит себе под нос:

– И увидели они в саду девочку, краше которой не было никого на всем свете. Но не знали, как ее зовут. И тогда мальчик стал звать ее: «Девочка, иди сюда! Иди, голубая, иди, белая!»

Я жарю картошку на кухне. Марик рядом играет с тряпичным клоуном.

– И вот пришли наши путники на кухню. А куда дальше идти – не знают. Мальчик и говорит: «Давай спросим дорогу у той женщины, которая жарит картошку на горизонте».

Я не могу сдержать смеха. Марик, не смущаясь, продолжает: «А на горизонте у них было очень весело».

Когда Марику исполнилось три, Додик сказал, что дальше тянуть он не может. Что родители его истомились, что это просто жестоко и несправедливо – так долго не показывать им внука. В июне у него отпуск, и мы должны поехать. Я подчинилась. Хотя почему-то боялась этой поездки.

Поезд Ленинград—Баку тащился трое суток, и вагон горячел с каждым днем. У Додика был с собой географический атлас, он открывал его всякий раз, когда под колесами грохотал очередной мост, и сообщал мне название пересекаемой реки: Волхов, Вишера, Тверда, Ока, Медведица, Волга, Ахтуба, опять Волга, Терек...

В Дербент поезд пришел рано утром. На прохладном перроне нас встречали лейтенант и сержант с игрушечными танками на погонах. Улыбаясь, подхватили наши чемоданы, подвели к какой-то танкетке-самоходке. На ее гусеницах блестела роса. Я покорно взобралась в кабину, лейтенант подал мне спящего Марика, и мы покатали. По дороге Додик сквозь грохот объяснял мне тайну появления танкистов на нашем пути.

Оказывается, пятнадцать лет назад в этих краях разместились танковая дивизия. И вскоре у танкистов завязалась крепкая дружба с деревней Ахтыр, где жили Додиковы родители. Начальник дивизии, генерал Самозванов, был страстным рыбаком. Ему очень понравилось ловить форелей в Самуре, а вечером пировать в Ахтыре. Вскоре у него запылал горячий роман с миловидной вдовой из этого села. Ахтыр стал для генерала воплощением земного рая, где можно было отдохнуть от семейной рутины и тягот командирства. И ему очень хотелось отблагодарить ахтырцев за все приятные вечера и ночи, которые он проводил там.

Но что мог сделать танковый генерал для пастухов и садоводов? Защищать? Но от кого? Никакие враги не грозили им в ближайшем будущем.

Блестящую идею, выход, решение нашел младший брат Додика – Авессалом. Он сам отслужил в армии и знал кое-какие тайны, неведомые людям штатским. Например, он знал, что любая военная техника стареет, изнашивается и должна регулярно обновляться, чтобы наша армия могла отразить империалистического агрессора или прийти на помощь угнетенному народу в любой момент, в любой точке земного шара. В том числе необходимо было время от времени ставить на танки новые моторы. А куда девать старые? «Товарищ генерал, неужели в металлолом? Но они еще исправно гудят и могут прослужить на мирных работах немало часов, дней, лет».

Нет, даже Додик не знал, сколько мешков урюка, бараньих туш, сырных головок, арбузов и дынь получали офицеры танковой части за каждый состарившийся и списанный мотор. Спрашивать об этом значило бы принизить дружбу между армией и народом до какой-то вульгарной торговой сделки. Село Ахтыр слало дары земли танковым защитникам этой земли, а те слали ахтырцам ответные дары в больших ящиках из крепких досок. И только злые завистники могли увидеть что-то незаконное во внезапно начавшемся процветании ахтырцев. У которых появилась своя мельница, чьи жернова крутил танковый мотор. И своя водонапорная станция. И своя подвесная канатная дорога для спуска бревен с лесозаготовок в горах. И своя электростанция, питавшая фонари на улицах, лампочки и холодильники в домах, кинопроектор в клубе, машинки для стрижки овец. Солярку и смазку для моторов танковая часть присылала уже совсем безвозмездно.

На грохот танкетки поселяне повалили из домов, ребятишки погнались вслед на самокатах, на велосипедах, верхом на хворостинах. В конце улицы на крыльцо дома вышел библейский старик в папаше и бараньей безрукавке, с посохом в руках. Рядом с ним стала мать Додика

– я узнала бы обоих без подсказки, так они были похожи на сына. Та же заморско-нездешняя красота, тот же облик киноэкранных иноземцев, от которых не знаешь чего ждать.

Додик обнял родителей одного за другим, потом передал им сына. Марик радостно ухватил деда за бороду, но тут же увидел золотые и серебряные пряжки, украшавшие бабкин бешмет, потянулся к ним. Бабка растроганно приняла его, осыпала поцелуями, облила слезами. Когда настала моя очередь здороваться, старики были так размягчены явлением внука, что я поняла – за Марика мне будут прощены все грехи, прошлые и будущие, даже короткая юбка и крашенные ногти на ногах.

В абрикосовом саду за домом ждали накрытые столы. Но решено было отложить пир до приезда генерала. Лейтенант сказал, что Николай Гаврилович обещали вырваться не позже двух. А пока можно прогуляться вверх по реке, полюбоваться горами.

Тропинка шла среди тутовых деревьев. Ноги скользили на опавших ягодах шелковицы. В просветах между деревьями виднелись зеленые склоны, простроченные там и тут каменистой грядой. Умытая галька на дне реки сверкала, как обсосанные карамельки.

После получаса ходьбы мы пришли к небольшой излучине, где вода переставала бурлить, притворилась тихим озерцом. Авессалом снял с плеча мешок, извлек оттуда рыболовную сеть. Лейтенант и сержант скинули форму, остались в трусах и сапогах. Додик с братом последовали их примеру. Они взяли сеть за четыре угла, осторожно вошли в воду. Расстелили сеть на дне, затаились.

Лицо Авессалома исчезло за стеклянной маской.

Время от времени он опускал голову под воду, вглядывался. Минут через десять предостерегающе поднял руку...

Рыбаки насторожились.

Взмах руки – и все четверо разом вскакивают и высоко вздымают углы сети. Потом спешат друг другу навстречу, как танцоры в хороводе.

В сузившемся пространстве между ними вода начинает кипеть и сверкать.

Стайке форелей суждено украсить пир ахтырцев.

Рыбаки, стуча зубами, обсуждают, хватит ли на уху, или нужен еще один заброс. Я говорю решительное «нет». Марик подтверждает его громким плачем. Ему жалко рыбок, бьющихся на траве. Кажется, это в первый раз ему довелось видеть смерть еды. Рыбаки скачут по берегу, растирают друг друга, хохочут.

– Не думай только, что и генерал лазает в воду, – шепчет мне Додик. – Ему кресло на берегу поставят, а сержант червячка насадит на крючок.

И вот мы пируем.

С танковым генералом во главе стола. Рядом – счастливый дед Самуил и счастливая бабка Ревекка. Ее пряжки и бляшки сверкают на солнце не хуже генеральских погон. Гремит музыка. Лейтенант с аккордеоном, двое местных с трубами и генеральская подруга – с бубном. Умолкают на тостах и речах, подбегают к столу, чтобы опрокинуть чарку, закусить шашлычком.

О чем тосты?

Конечно, о смене поколений. Чтоб так вот и шла жизнь – от отцов к сыновьям, от дедов к внукам. Поднимите нашего Марика до абрикосовых веток, дайте всем полюбоваться на него. И он пусть посмотрит – на село, на сельчан, на землю, где его корни навсегда, хоть и родился далеко-далеко.

И еще – за дружбу. Чтоб так вот сходились за одним столом смелый воин и умелый садовод, заботливый пастух и хитроумный ученый. Ведь Додик-то наш здесь же, под этими деревьями на хворостине скакал, а теперь? В больших городах науку движет, направляет формулами, без которых ни танк не поедет, ни пушка не выстрелит, ни ракета не дотянет до космоса.

Генерал Самозванов каждый тост начинает с военных воспоминаний:

– Вот, друзья мои, в конце одна тысяча девятьсот сорок четвертого вошли мы в Австрию. И что же видим после нашей разоренной родной земли? Домики у них чистые-чистые, крыши все под красной черепицей, в окошках цветочки, улицы под кафелем, как пол в ванной. И уж били мы за это тех австрияков смертным боем! Башню повернешь пушкой назад, на домик наедешь – и враз все в смятку, все как у нас. Так выпьем же за все наши победы, прошлые и будущие, и чтоб заучили наши враги, как дорого они будут платить, если и впредь станут огорчать нас своим процветанием!

Лейтенант растянул аккордеон, запел неуверенным тенорком:

Я встретил вас – и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас...

Генерал тихо подпевал, дирижировал, утирал платком слезную каплю. Последнюю строчку – «и та ж в душе моей любовь» – пропел в лицо своей избраннице, млевшей рядом. Потом вскочил с очередным тостом:

– Соседи дорогие! Выпьем за русского поэта, сочинившего эти бессмертные строфы! Ведь Федор Иванович Тютчев знал не только тайны сердца человеческого. И тайны мировой истории были открыты ему. Далеко смотрел его взор, бесстрашно взлетало сердце. Дайте я прочту вам его стих, в котором он описывает будущее России:

Москва и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? И где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

Блестели генеральские погоны, блестели увлажненные глаза, блестел пот на щеках, блестел бараний жир на подбородке.

Ах, Федор Иванович, нежнейший наш лирик! Порадовалось бы ваше сердце словам горячего танкиста? Простили бы вы ему красные звезды, разрушенные церкви и партбилет в кармане? Ведь это именно он, и никто другой, почти осуществил вашу мечту – раздвинул русские границы аж до Эльбы. И Нил мы уже почти заарканили своей плотиной, и половина Дуная течет по нашей территории. Правда, до Ганга и Евфрата еще далековато, Босфор и Дарданеллы до сих пор не даются и Стамбул все еще не стал обратно Константинополем. Но дайте срок, дайте срок...

Домики села рассыпаны по горному склону, как ложи в театре, всем, кто не попал на пир, можно глядеть на него с собственного крылечка. Да есть ли такие, остался ли кто-нибудь обойден?

Народу все прибывает, кому не хватило скамейки, устраиваются на траве. Над жаровнями с бараниной и курятиной густеет вкусный дымок, из дома несут пироги и лепешки. Арбузы и дыни подкатывают к столам, как ядра к батареям. Тут же и собакам перепадает всякой вкусноты, и курицы с утками путаются между ногами, и распряженный конь пробует на вкус абрикосовый лист. Чистый первозданный рай, добра и зла знать не надо, грехопадение забыто, или его и не было. А если какой-нибудь ангел у входа попробует махать своим огненным мечом обращающимся, мы его вежливо отодвинем в сторонку танком Т-54. Ведь не устоит – а?

Ночевать нас положили в самой большой спальне фамильного дома. Марик во сне упрямо скидывал одеяло, подставлял под вентилятор солнечные ожоги на плечах и животике. Пахло сухим деревом, кожей, яблочным сидром. От реки тянуло прохладой, плеск волн сливался с тихим гудением танкового мотора, мирно качавшего воду в оросительные каналы. За стеной Додик о чем-то оживленно шептался с родителями. Тревога сосала мне сердце, не давала заснуть.

Наконец Додик появился, сел на кровать, протянул руку:

– Не спишь?

– Нет. О чем вы там?

– Старики очень взволнованы. Их можно понять. Для верующих людей старинные обряды – это святыня.

– Какие обряды?

– Отец обо всем договорился. Раввин живет в селе вверх по реке, километров пятнадцать.

Генерал дает танкетку. За день обернемся.

– Обернемся – для чего?

– Ну как ты не понимаешь...

– Нет, не понимаю.

– Еврейский мальчик не может расти необрезанным.

У меня отнялась речь. Я могла только подхватить Марика на руки и стала бегать с ним по комнате, то ли баюкая, то ли отыскивая тайник, куда его спрятать.

– Что ты? Что с тобой? – бормотал Додик. – Чего ты испугалась? Ты же знала, что мы иудеи.

– Ни за что! – Слова вылетали из меня с хриплым шипением. – Не дам ни за что! Это мой ребенок. Какое они имеют право? Я буду жаловаться... скажу генералу... Он не позволит...

– Да что в этом такого? Операция безопасная, с гигиенической точки зрения полезная...

– Безопасная! Отметина на всю жизнь! Для всех новых погромщиков... Ты думаешь, на Гитлере и Сталине все закончилось? Думаешь, они не вылезут снова? Думаешь, сегодня мало их – затаившихся, прячущих под подушкой «Протоколы сионских мудрецов»? А в ящиках стола – кастет и веревку?

Додик возражал все слабее. Потом со вздохом пошел сообщить родителям о бунте на семейном корабле.

Мы пробыли еще один день и потом уехали из села рано утром.

Старики не вышли нас провожать.

А в начале учебного года нужно было выбрать тему для аспирантского реферата. Я выбрала Тютчева. Но письмо написала не ему, а его возлюбленной, носившей ту же фамилию, что и я.

ПИШУ ТЮТЧЕВОЙ-ДЕНИСЬЕВОЙ

Дорогая Елена Александровна!

Удивительна Ваша судьба. Подобно Дантовой Беатриче Вам удалось войти в историю литературы, не сочинив ни одного стихотворения, статьи, рассказа. Кажется, не сохранилось даже ни одной страницы, написанной Вами по-русски. Интересно, как Вы говорили с Тютчевым, оставшись наедине. Тоже по-французски?

Ваше имя запало мне в память на первом курсе, оно мелькнуло в обзоре русской поэзии девятнадцатого века. Сокурсники подшучивали надо мной: «Мы и не знали, что Тютчев посвящал тебе стихи!» Я ношу ту же фамилию, что и Вы, и иногда позволяю себе мечтать, будто мы с Вами связаны каким-то дальним родством. Был ли у Вас брат, оставивший потомство? Или дядя? Вдруг мой отец может проследить свою родословную к кому-нибудь из них? В этом нет ничего невероятного. Ведь он родился всего лишь на сто лет позже Вас.

История Вашей любви к Федору Ивановичу Тютчеву проступала передо мной сначала урывками – вспышка там, вспышка здесь. Но потом вдруг захватила, я стала читать все опубликованные воспоминания и письма, где мелькало Ваше имя, и в конце концов была – как и многие до меня – заморожена, покорена силой и красотой Вашего чувства.

Но как?! Как Вы решились? Вот уж про кого можно сказать словами Лермонтова: «Восстала против мнений света». Не окончив еще курса в Смольном институте для благородных девиц, вступить в связь с женатым человеком старше Вас на 22 года. Имеющего к тому времени трех детей от первого брака и трех – от второго. Ведь не могли же Вы не предвидеть, что после этого двери всех светских гостиных закроются для Вас, прежние друзья отвернутся, родители проклянут.

Я испытывала к Вам смесь завистливого восторга и ревности. Да, да – ревности. Я ревновала к глубине Вашей любви и к доблести, с которой Вы решились отстаивать ее. У меня-то никогда не хватило духа снять маску, поднять забрало, бросить вызов условностям и предрассудкам. Наверное, и сейчас ревность подспудно движет моим пером. Потому что мне хочется рассказать Вам о Вашем возлюбленном, о Вашем «Боженьке», все, что Вы не могли знать о нем при жизни. Рассказать – и каким-то чудом услышать Ваш ответ на жгучий для меня вопрос: выжила бы Ваша любовь, если бы Вы знали о Федоре Ивановиче то, что мы знаем теперь?

О нет, он вовсе не был дурным, злым или неблагородным человеком, скрывавшим какие-то тайные пороки или даже преступления. Но во всем, что он делал и писал, было какое-то неистребимое равнодушие к судьбам и страданиям окружающих его людей. «Грозу в начале мая» любил, а на собственных детей почти не обращал внимания. Может быть, это было как-то связано с его знаменитой рассеянностью? Правда ли, что он однажды явился на светский раут не во фраке, а в ливрее своего камердинера, которую напялил по ошибке? А в другой раз принял нищего, стоявшего у дверей особняка, за лакея и сбросил ему на руки свою дорожную шубу? (Полиция в Петербурге была тогда на высоте, и уже на следующий день бедному нищему пришлось расстаться с дорогой добычей.) И еще один примечательный эпизод на эту тему описал в своих мемуарах об отце Ваш сын, Федор Федорович Тютчев. Как тот гулял с ним, девятилетним, и с его няней по аллее. Рука его лежала у мальчика на шее, и, разговаривая, он все сильнее сжимал ее. Наконец няня заметила, что мальчик задыхается, и указала на это Ф. И. «Какой мальчик? – не понял поэт. – Ах, Боже мой! А я думал, что это моя палка». Двусмысленность Вашего положения была, конечно, главной мукой для Вас в повседневной жизни. И Ф. И. отдавал себе отчет в роковой роли, которую он сыграл в Вашей судьбе, запечатлел это в пронзительных строчках:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел – спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

.....
Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Вы считали себя настоящей женой Ф. И., но тяготились тем, что брак был лишен церковного благословения. Ф. И. уверил Вас, что даже смерть его жены, Эрнестины Федоровны, ничего не изменила бы в Вашей судьбе. Ибо по правилам православной церкви четвертый брак не может быть благословлен священником. Однако Ф. И. до встречи с Вами был женат всего два раза – не три. Может быть, та же рассеянность помешала ему правильно помнить число своих жен? Или он считал свое неудавшееся сватовство к Амалии Крюденер женитьбой номер один?

С первой женой, Элеонорой Петерсон, Ф. И. прожил двенадцать лет, вплоть до ее смерти в 1838 году. Но знали ли Вы, что роман с будущей второй женой, богатой вдовой барона Дернаберга, запылал еще при жизни первой и та, узнав об этом, даже пыталась покончить с собой? К моменту встречи с Вами Ф. И. не был новичком в искусстве тайного адюльтера. Однако мы должны – нет, просто обязаны! – допустить – хотя бы как гипотезу, как вариант, – что талантливый, легко загорающийся поэт порой действительно не в силах помнить, есть у него на сегодняшний день жена или нет.

Но самая яркая вспышка рассеянности произошла вскоре после смерти первой жены. Доходили до Вас слухи о том, как дипломат Тютчев, аккредитованный в столице Сардинского королевства Турине, обратился к своему начальству с двумя просьбами: разрешить ему бракосочетание с Эрнестиной Федоровной и предоставить длительный отпуск. Бракосочетание было разрешено, а в отпуске отказано на том основании, что заменить камергера Тютчева в посольской миссии было нечем, ибо он был в тот момент единственным представителем Российской империи в итальянском королевстве. И тогда наш дипломат рассеянно покидает помещение посольства, рассеянно запирает его на ключ, захватив с собой – о рассеянность поэта! – секретные дипломатические шифры.

Рассказывал Вам Ф. И. об этом? Пытался как-то объяснить свой поступок?

У людей моего испорченного поколения первая мысль была бы: хотел подзаработать, продав шифры иностранной разведке. И поехал ведь не куда-нибудь, а в нейтральную Швейцарию – лучшее место для торговли таким товаром. Ведь шифры впоследствии так и не нашлись и не были возвращены.

Сопоставляя дату отъезда Ф. И. из Турина с датой рождения первого ребенка Эрнестины Федоровны, некоторые историки выдвигают такое объяснение: необходимость срочного отпуска была вызвана тем, что возлюбленная была беременна и Ф. И. не хотел, не мог оставить ее одну в таком положении.

Так или иначе, самовольство не прошло Тютчеву даром: он был уволен из дипломатической службы и лишен звания камергера. Удар, однако, был смягчен тем фактом, что новая жена была очень богата. В письме родителям Ф. И., описывая доброту Эрнестины Федоровны

к его детям, добавляет мельком, что она также «уплатила мой долг в 20 тысяч франков». На средства жены супругам удалось безбедно прожить в Европе целых пять лет.

В своих политических статьях этого времени Ф. И. часто наделяет государства и народы человеческими страстями и свойствами. «Англия не стерпела», «Россия чувствовала себя отмищенной», «Европа мистифицировала...», «Германия нагнетала ненависть» – такие обороты, видимо, делали мировую политику понятной и увлекательной для его читателей.

Вряд ли Вам доводилось читать статью «Россия и Германия», которую Ф. И. опубликовал в аугсбургской газете в 1844 году. Суть ее сводилась к тому, что раньше в Европе боролись две главные силы – Франция и Германия, а теперь добавилась третья – Россия – и что Германии следует дружить именно с Россией, потому что она тридцать лет назад освободила ее от Наполеона и всячески поддерживала все эти годы. Вы не читали, а вот государь император Николай Первый прочел и пожелал узнать имя автора, который так хорошо изложил на бумаге ну буквально его собственные, императорские мысли и чувства. Особенно ему должен был, я думаю, понравиться абзац про политическую нравственность:

«Бессмертной заслугою монарха, находящегося ныне на престоле России, служит то, что он полнее, энергичнее всех своих предшественников проявил себя просвещенным и неумолимым защитником исторической законности. Раз, что выбор был сделан, Европе известно, оставалась ли Россия ему верна в течение тридцати лет? Позволительно утверждать с историей в руках, что в политических летописях вселенной трудно было бы указать на другой пример союза столь глубоко нравственного, как тот, который связует в продолжение тридцати лет государей Германии с Россией, и, благодаря именно этому великому началу нравственности, он был в силах продолжаться, разрешил многие затруднения, преодолел немало препятствий».

После этой статьи правительство вдруг сменило гнев на милость по отношению к беглому дипломату. Вскоре Тютчев с семейством возвращается в Россию, где его восстанавливают на службе, возвращают придворное звание камергера. С этого момента карьера Ф. И. идет только вверх. В 1846 году он уже чиновник особых поручений при государственном канцлере, в 1848-м – старший цензор при Министерстве иностранных дел (тот самый год, когда арестован Достоевский и другие петрашевцы), в 1857-м – действительный статский советник, в 1858-м – председатель Комитета иностранной цензуры. Один за другим следуют ордена: Владимира 3-й степени, Станислава 1-й степени, Анны 1-й степени. Как Вы, наверное, гордились его успехами!

Но когда Вы встретились с 47-летним Ф. И. в 1850 году, его положение в свете и при дворе еще не было таким заметным. Да и как поэт он был известен лишь в узком кругу любителей российской словесности. Чем же мог Вас так увлечь седой и хромой господин, навещавший своих дочерей в Смольном институте? Ведь Вы вовсе не были наивной девочкой к тому времени. В свои двадцать пять лет Вы вращались в петербургских гостиных, принимали ухаживания светских львов. Про Вас нельзя было сказать, как про Татьяну Ларину: «Душа ждала – кого-нибудь. И дождалась!» Нет, видимо, было в немолодом поэте какое-то таинственное, неотразимое очарование, раз он зажег в Вас такую пламенную любовь.

Летом 1850 года – объяснение в любви, а весной 1851-го – уже первый ребенок, дочь Леся. Когда стало ясно, что беременность слишком заметна и не позволит Вам принять участие в выпускных торжествах, пришлось уйти из института. А вместе с Вами – и тетушке, Анне Дмитриевне Денисьевой, классной наставнице, так надеявшейся на то, что ее сделают кавалерственной дамой, а племянницу – фрейлиной. Что меня поражает – она никогда не обронила ни слова упрека в адрес Вашего «соблазнителя», жила вместе с Вами в снятой им квартире, заботливо и приветливо принимала, когда ему удавалось вырваться к Вам из светских и семейных пут. Не попала ли и она под чары любвеобильного камергера?

Не знаю, может быть, какие-то гостиные и закрыли двери перед Ф. И. Но в общем, и свет, и двор простили его, скандал удалось приглушить. Он оставался повсюду принятым, блестящим собеседником, заботливым отцом шестерых детей (не считая Вашей дочери), вниматель-

ным мужем баронессы Дернберг, предпочитавшей почему-то большую часть года проводить в деревне.

Надо сказать, что в те времена полиция нравов вовсе не склонна была смотреть сквозь пальцы на внебрачное сожитие. Когда Николай Огарёв сделал попытку вступить в брак с Натальей Тучковой, не получив развода от первой жены, он и двое его родственников, помогавших ему, были арестованы и увезены в Петербург по предписанию Третьего отделения. Их продержали несколько недель в заключении по подозрению в причастности к «фурьеризму», то есть пропаганде фаланстеров и полигамии. Другую историю того же рода описывает сам Ф. И. в письме к жене:

«Князь С.Трубецкой пойман вместе с хорошенькой беглянкой в одном из портов Кавказского побережья, в тот самый момент, когда они были готовы отплыть в Константинополь. Они целую неделю прожили в Тифлисе, и никто ничего не заподозрил, и задержали их только потому, что за полчаса до отъезда этот нелепый человек не смог устоять против искушения сыграть партию в бильярд в местной кофейне, где его, по-видимому, опознали и разоблачили. Бедная молодая женщина была немедленно под надежной стражей отправлена в Петербург, а что до него, то ему, вероятно, придется спеть самому себе оперную арию, которую охотно певали в былое время: *Ах, как сладко быть солдатом!*».

Тютчеву же было прощено все. Не могла ли способствовать этому особо милостивому отношению докладная записка, поданная им в 1848 году императору, в которой, среди прочего, были такие строки:

«Каким образом могло случиться, что среди всех государей Европы, а равно и политических деятелей, руководивших ею в последнее время, оказался лишь один, который с первого начала признал и провозгласил великое заблуждение 1830 года и который с тех пор один в Европе, быть может один среди всех его окружающих, постоянно отказывался ему подчиниться? В этот раз, к счастью, на Российском престоле находился государь, в котором воплотилась „русская мысль“, и в настоящем положении вселенной „русская мысль“ одна была настолько отдалена от революционной среды, что могла здраво оценить факты, в ней проявляющиеся... То, что император предвидел с 1830 года, революция не преминула осуществить до последней черты».

Кстати, в этой же записке сильно достается венграм: они представлены потомками азиатской орды, то есть гуннами, которые только и думают о том, как бы *им* завершить порабощение славянских племен, начатое их предками. Наверное, эти мысли крепко запали в голову императору, коли год спустя он послал сотысячный корпус на берега Дуная, поручив ему свергнуть революционное правительство в Будапеште.

Да, камергер Тютчев был прощен, но Вам не простили ничего. Кажется, не нашлось среди прежних друзей ни одного смельчака, который решился бы показаться с Вами на людях, пригласить в гости. Пустыня пролегла между Вами и всем Вашим прошлым. Даже родной отец заявил, что знать Вас больше не хочет. И всей-то жизни для Вас осталось: заботы о ребенке и ожидание визита Вашего «Боженьки». Который, честно скажем, не был создан для того, чтобы умиленно склоняться над детской кроваткой.

Однако Ваши страдания он понимал и сочувствовал им, если судить по чудному стихотворению, написанному им в те годы как бы от Вашего имени:

Не говори: меня он, как и прежде, любит,
Мной, как и прежде дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,

Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я —
Но эта жизнь!.., о, как горька она!

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.

Только не думайте, что участь его законной жены была намного легче. Мы не знаем, до какой степени она была осведомлена о Вашем существовании, о рождении Ваших детей. Но было бы наивно полагать, что сплетни и слухи бережно облетали ее стороной. Недаром она предпочитала большую часть года проводить с детьми в брянском имении или за границей. Попадая в Москву или Петербург, она всегда должна была делать вид, что в семье Тютчевых все идет нормально, а при этом напряженно ловить задний смысл в обращенных к ней словах, в бросаемых на нее взглядах. Она даже не могла открыто возмутиться, потребовать от супруга прекратить отношения с Вами. И собственная совесть, и муж могли на это ответить: «А разве сама ты в свое время не согласилась стать тайной возлюбленной одного русского дипломата, имевшего жену и троих детей?»

О тяжелой атмосфере, установившейся в доме, свидетельствуют дневники и письма старшей дочери – Анны:

«Мое несчастье – это моя семья. В ней господствует дух уныния, отрицания и сплина, благодаря которым жизнь превращается в непрерывную пытку. Никто из нас не умеет пользоваться маленькими радостями жизни, но зато мы превосходно умеем, благодаря неуживчивости и резкости характера, превращать мелкие жизненные невзгоды в настоящие несчастья... Мы все очень умны, умом нашего века, разлагающим, мятежным и презрительным; во всех нас очень мало преданности, очень мало участливости и полное отсутствие сердечной простоты...

Папа, который скучает и у которого сплин, срывает свое настроение на мне больше, чем на ком-либо другом. Вероятно, у меня раздражающе довольный вид. Он хочет доказать мне, что я на самом деле не довольна и создаю себе искусственные радости. Никто не знает меня меньше, чем мой отец, который пытается судить обо мне по себе. Он стремится убедить меня в том, что я люблю свет, что могу быть счастливой только при дворе. Он не понимает того отчаяния, в которое приводит меня эта мысль!..»

Надо отдать должное Ф. И. – он делал все возможное, чтобы помочь жене справляться с этой невыносимой ситуацией. Вам было бы больно читать его письма к ней в эти годы, потому что часто они были переполнены настоящей нежностью, тоской по поводу разлуки. Возможно, многие из этих писем писались сразу после свидания с Вами. Лицедейство? Вот несколько отрывков – судите сами. В мае 1851 года Вы родили дочку, а в июне Ф. И. уже в Москве и засыпает жену трогательными посланиями:

«Теперь, если бы мне было обещано чудо, всего одно только чудо в мое распоряжение, – я воспользовался бы им, чтобы в одно прекрасное утро проснуться в той комнате, которую ты так любезно приготовила мне рядом со своею... Что вполне реально в моих впечатлениях – так это пустота, созданная твоим отсутствием...»

«...До свиданья, милая моя кисанька. Твой бедный старик – старик очень нелепый; но еще вернее то, что он любит тебя больше всего на свете».

«Ничто не успокоит смертной тоски, что охватывает меня, едва я перестаю тебя видеть... Ах, береги себя, милая моя кисанька, береги себя... И я смогу еще надеяться на несколько радостных мгновений в жизни».

«Я решительно возражаю против твоего отсутствия. Я не желаю и не могу его выносить... Я испытываю от него только усталость и огорчение, которых ничто не возмещает».

Некоторые биографы Тютчева не без иронии отмечали, что, вопреки всем жалобам на разлуку, поэт делал часто все возможное, чтобы продлить ее. Или, навестив семью в деревне, через месяц уже находил предлог, чтобы удрать оттуда. Они называют эти пассажи в письмах «игрой в разлуку». В дело шли изобретательно придумываемые предлоги: необходимость лечиться, финансовые трудности, служебные обязанности, разливы рек.

Однако я не думаю, чтобы здесь было одно лишь лицедейство. Пока Ф. И. был с женой, в семье, он часто раздражался, скучал, рвался улизнуть. Но в разлуке ее образ снова окрашивался отблеском того огня, который свел их пятнадцать лет назад. Если бы осмелился, он мог бы сказать вслед за сербской поэтессой: «О, не приближайся! Только издаleка хочется любить мне блеск очей твоих...» Писатель Франц Кафка (мне кажется, Вы смогли бы его оценить и полюбить, если бы он жил в Ваше время) засыпал пламенными письмами двух своих возлюбленных – Фелицию Бауэр и Милену Есенскую. Он погружался в свою любовь, плетя словесные кружева, лелеял ее, выпевал. Но короткая встреча с живой возлюбленной – и все рушилось. Таковы поэты – не нам их судить. И не дай бог залететь в их сердечный пожар.

Писал ли он в эти годы Вам, когда разлучался с Вами? Судя по строчкам стихотворения, сочиненного в 1858 году, – да, писал, и много.

Она сидела на полу
И грудю писем разбирала,
И как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени —
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

Как жаль, что эти письма не сохранились, превратились, видимо, в золу. А вдруг уцелели? Вдруг до сих пор лежат, желтея с каждым годом, в каком-то архиве? Как бы я хотела прочесть их!

Жена, Эрнестина Федоровна, имела потом возможность пройтись цензурными ножницами по всей переписке. В том, что она сохранила, зияют дыры длиной в месяцы, а то и годы. Но даже и из того, что сейчас появляется в печати, вырастает портрет человека, уносимого вихрем собственных страстей, неподвластных деспотизму логики, пользы, морали. Возможно, Вы не узнали бы своего Ф. И., возможно, Вы любили совсем другого человека. Но вдруг Вам важно и интересно узнать, каким он видится нам сегодня? Я позволю себе продолжить рассказ.

Скандалная связь со «смолянкой» сделала трудным положение дочерей Тютчева от первого брака, учившихся в том же Смольном институте. Поначалу директриса предложила Ф. И. забрать их и поместить в какое-то другое учебное заведение. Ф. И. должен был как-то объяснить жене, находившейся в деревне, причину возникших затруднений. Он решил все изобразить как нелепую интригу классной дамы Леонтьевой:

«Вчера я имел серьезнейшее объяснение с Леонтьевой по поводу интриги, которую она сплела, чтобы исключить детей из Института. Леонтьева – злая дура, она не удовлетворялась болтовней в высших сферах, она так постаралась возвестить всюду о событии, которого столь желала, что всем лицам, беседовавшим со мной о девочках со времени моего возвращения, уже было известно, что дети не вернутся в Смольный... настолько этой вздорной твари хотелось успокоить самое себя».

В конце концов благодаря заступничеству двора детей удалось оставить в институте. Но атмосфера в семейной жизни не посветлела. Вот как описывает ее дочь Анна в письме к сестре:

«Вчера был день именин папа и, значит, обед в семейном кругу, а потому я отказалась от обеда у императора. Однако папа ничуть не оценил мой подвиг. Дома он очень угрюм, и обычно мы видим его только спящим. Едва поднявшись, он уходит. Слово *joyless* (безрадостный) было придумано специально для нашего дома. Я всегда с тяжелым сердцем возвращаюсь оттуда. Кажется, что дыхание жизни покинуло его...»

А вот из ее дневника: «Папа ежедневно нуждается в обществе, ощущает потребность видеть людей, которые для него – ничто, а к детям своим его не тянет. И он это не только говорит, он это чувствует».

Когда Анна Федоровна пишет, что светские знакомые для ее отца были «ничто», она, мне кажется, упускает из виду один очень важный момент. Судя по воспоминаниям современников, блеск тютчевского гения проявлялся для них не столько в стихах, сколько в его неповторимом артистизме. Он был великий актер-импровизатор, и каждый собеседник был для него благодарным зрителем, а светская гостиная – театральным залом, который он покорял тут же сочиняемым и разыгрываемым спектаклем, каждый вечер – новым. Он ехал в свет, как актер едет в театр, – чтобы покорить зал.

В наши дни у Тютчева были бы все шансы стать знаменитым телевизионным ведущим. Именно эту сторону его таланта пытался отметить впоследствии Ваш сын, Федор Федорович Тютчев, когда задавался вопросом: почему такой одаренный человек так мало написал за свою долгую жизнь? Он сравнивает судьбу отца с судьбой первоклассного певца, искусством которого наслаждаются только современники, а потомкам оно остается – в дограммофонные времена – недоступным. В какой-то мере это запечатлено и в стихотворении Апухтина, посвященном Ф. И.:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.